ЛЕВ УСЫСКИН

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ДЕТСТВА

Лев Усыскин

Длинный день после детства

«Издательские решения»

Усыскин Л. Б.

Длинный день после детства / Л. Б. Усыскин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-904972-8

В новом сборнике Льва Усыскина рассказы, написанные в разные годы, расположены в порядке возрастания социального возраста их главных героев.Действие рассказов разворачивается при этом в достаточно широком историческом диапазоне: от 70-х годов прошлого века до наших дней. Таким образом, автор создает, по сути, универсальную картину взросления и инициации — исследует чувства человека, не зависящие, как оказывается, ни от исторического времени, ни от географического места.

ISBN 978-5-44-904972-8

© Усыскин Л. Б.
© Издательские решения

Содержание

РАССКАЗЫ 6
Начало истории 6
Девяносто третий год 14
Урок английского 31
Новогоднее 36
Красная лампа 44
Длинный день после детства 49
Конец ознакомительного фрагмента. 57

Длинный день после детства

Лев Борисович Усыскин

© Лев Борисович Усыскин, 2018

ISBN 978-5-4490-4972-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

РАССКАЗЫ

Начало истории

Асару Эппелю, с уважением.

Плоский вентиль горячей воды, похожий чем-то на застывший в металле поперечный срез какого-то диковинно-крупного апельсина, утративший уже большую часть венозно-красной краски, некогда покрывавшей его немилосердным пупырчатым слоем, и сочащийся теперь регулярными обжигающими каплями, сдаваться не хотел ни в какую: едва тронутый вправо, он, выждав пару мгновений, ответил едва ли не кипятком, заставив Борьку тут же отскочить прочь. Когда же после этого мальчик, изловчившись, просунул ладонь сбоку, между трубами, и торопливым движением возвратил его ровно на столько же влево, ничего не изменилось ровным счетом: вода шла все такая же невыносимо-горячая, и Борька, по новой протиснув ладонь, приладился добавлять левого поворота еще и еще, всякий раз осторожно пробуя падающие из распылителя струи… Наконец, что-то начало происходить: тугая сообразилка железного жирафа вроде бы сработала как-то, и на смену обжигающе-горячей воде стала литься обжигающе-ледяная. Борька вновь отскочил в сторону и принялся опять подкручивать вентиль едва заметными поворотами – теперь уже вправо…

Вода с гулким шумом падала на коричнево-желтые квадратики пола, стекала под уклон и, образуя искусственный ручеек, уходила под соседнюю кабинку, где, в свою очередь, свиваясь в медленную воронку, исчезала над чугунной решеткой канализационного выпуска. Борькина кабинка была, таким образом, второй в ряду из трех, приписанных к одному на всех выпуску, – если бы в третьей, расположенной теперь у Борьки за спиной, кто-то сейчас мылся, то грязная вода с разводами мыльной пены шла бы оттуда транзитом, пачкая ноги, – вот почему брезгливый Борька, приходя в душевую, всегда стремился попасть в одну из семи крайних кабинок. Подобное, надо сказать, удавалось ему нечасто: обычно все кабинки изначально бывали заняты и приходилось даже ждать, уворачиваясь от чужих мыльных хлопьев, пока какая-нибудь из них не освободится…

Впрочем, как раз сейчас можно было занимать любую из крайних кабинок на выбор – и, однако, в этом не было теперь никакого смысла, ровным счетом, именно в силу самой возможности такого выбора: Борька был здесь один, абсолютно один, ибо впервые оказался в душевой в неурочное время – за четверть часа до конца занятий последней по расписанию группы.

Сразу стоит сказать, что льготу эту Борька обрел не по собственной воле. Еще минут десять назад он тарабанил по третьей дорожке очередные *6 х 50 брассом* – и всякий раз, подплывая после новых ста метров к стартовой тумбочке, неизменно косился налево вверх – туда, где почти под самым навесом гостевого балкона виднелись квадратные стенные часы со старчески-дрожащими стрелками.

Как же медленно двигались эти стрелки! Словно бы сонные, они просыпались нехотя, как бы вынужденно, рывком, сдвигались самую малость вперед, чуть проскакивая положенное, затем возвращались немного назад и опять промахивались – хотя и на меньшее чуть-чуть. После чего опять смещались вперед – на этот раз уже едва заметно. И тогда только замирали – до следующего толчка.

Борька знал, что смотреть на часы следует с одного и того же места, – в противном случае зазор между стрелками и циферблатом создаст перспективу, параллакс, зависимость показыва-

емого времени от угла зрения – и это спутает все, спутает томительное ожидание того момента, когда вслед за скользнувшими на десять минут седьмого стрелками соловьем разольется длинный хрипловатый свисток, а уже за ним – неизбежные слова старшего тренера, упругие и гулкие, словно бы отскакивающие от кафельных стен: «*так!.. внимание!.. пять минут свободного плавания*!..»

Это значит, что на сегодня все кончено и уже через пять минут можно будет идти в душ…

Из сказанного легко понять, что особо теплых чувств к бассейну Борька не питал. Однако же сказать, что Борька не любил бассейна, – значит, по сути, не сказать почти ничего. Бассейн Борька форменно ненавидел, как только может ненавидеть что-либо девятилетний мальчик, ненавидел его и боялся. Бассейн был главной Борькиной неприятностью и главным огорчением – принуждаемый родителями (обеспокоенными осанкой, частыми бронхитами и т. д. и т.п.) ходить туда трижды в неделю, он послушно делал это, ни разу не помыслив даже о том, чтобы сманкировать положенным, выдумав ту или иную уважительную причину. (Смошенничать же в полной, что называется, мере – прогуляв бассейн, не сказать родителям об этом вовсе – никак было нельзя даже технически: красные от хлорки глаза и мокрое полотенце по возвращении домой всегда с однозначностью свидетельствовали, плавал Борька в этот день или нет.) Тем самым, мальчику оставалось лишь уповать на чудо, влезая каждый понедельник, среду или пятницу в переполненный двадцатый, – авось, что-нибудь произойдет и ненавистную тренировку отменят!..

Впрочем, подобные упования не были совсем уж беспочвенными – чудеса иногда, и в самом деле, случались. Как-то благодаря дорожной аварии (впереди идущий трамвай картинно сошел с рельсов как раз на повороте с 1-го Муринского на Лесной) пришлось простоять в образовавшемся заторе минут пятьдесят, по меньшей мере, – в бассейне давно уже закончилась разминка и началась *вода*, когда Борькин вагон, виновато подзвякивая и подлязгивая, наконец, тронулся с места, – тем не менее, Борька и в тот раз честно доехал в нем до пункта назначения, вышел и, однако, не заходя в бассейн, переместился тут же на противоположную остановку – ждать трамвая, везущего обратно, к дому…

Еще один счастливый случай имел место осенью, в период объявленного в их третьем «Б» *карантина по гепатиту А,* – то время запомнилось Борьке какой-то веселой флибустьерской беззаконностью: на переменках их не выпускали в рекреацию, завтрак тоже приносили прямо в класс – в большущих алюминиевых баках – причем ели его взятыми из дому ложками со взятых из дому тарелок. (Были, конечно же, и неприятные стороны этой вольницы – уколы и очень бóльные анализы крови из пальца раз в несколько дней – но их Борькина память услужливо задвинула куда-то в пыльную свою глубину – с глаз долой…)

Само собой, ни о каком бассейне во время карантина не могло быть и речи – школьный врач, сделав огромные глаза, торжественным голосом запретил им посещать любые кружки и секции под страхом, как он выразился, *уголовного преследования государством ваших заботливых родителей*. И Борькины родители, понятно, не смели настаивать…

Однако чаще всего – примерно раз в полтора месяца – случалась *смена воды*. Извещающую об этом бумажку на дверях бассейна Борька обычно замечал еще из трамвая – простую белую бумажку двенадцатого формата, приколотую насмерть четырьмя канцелярскими кнопками. «В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ ВОДЫ БАССЕЙН НЕ РАБОТАЕТ 12, 13 и 14 ДЕКАБРЯ» – хорошо, если тренировки попадали на крайние даты: тогда выгорало целых две из них. Хуже, если на среднюю, – в этом случае Борька вынужден был идти в бассейн в первый же его рабочий день – прежде, чем содержащая какие-то неведомые химикаты вода успевала обрести свою обычную бесцветную прозрачность. До этого вода должна была пройти несколько цветовых стадий – из первоначальной мутно-коричневой (застать ее такой, впрочем, Борьке ни разу не приходилось), через прозрачно-коричневую же, зловещую, как на торфяном Медноза-

водском озере, куда Борьку однажды вывозили родители, превратиться в зеленоватую и затем в бирюзово-синюю, как в недавнем американском фильме про ученых дельфинов, которых таинственные злодеи безуспешно пытались сделать живыми торпедами…

Плавать же в подкрашенной воде Борька не любил еще больше, чем в неподкрашенной, – виной тому была постыдная боязнь глубины, пиявкой привязавшаяся к нему с первого же посещения бассейна и произраставшая, в свою очередь, из неуемного Борькиного воображения. Коричнево-зелено-лазурный бассейн казался еще глубже, чем бесцветный, глубже и загадочней, и стоило Борьке проплыть хотя бы несколько метров, как в голову обязательно начинала лезть всяческая дурацкая всячина: то какие-то опасные рыбы, будто бы плавающие в глубине и способные схватить за голень или пятку, то словно бы покрывавшие дно густые гниловатые водоросли, кишащие мерзкими червеобразными и многоногими тварями… Часто же Борька в эти моменты как бы видел себя со стороны – точнее, снизу, со дна, от уровня хорошо различимой сквозь водяную толщу продолговатой кафельной плитки. Он словно бы стоял там и глядел, задрав голову, на себя плывущего – и тотчас же представлялось, что вода вдруг исчезает в единый миг, а все, кто находился на ее поверхности, падают неминуемо с семиметровой высоты, разбиваясь в кровь…

По этой же причине мальчик вообще не любил смотреть вниз, на дно, предпочитая плавать на спине. Однако выбор стиля являлся, как известно, прерогативой тренера, и приходилось всякий раз превозмогать себя, нарезывая бессчетные пятидесятиметровки *брассом, кролем* и *дельфином*. Сильнее же всего при этом захватывало Борькин дух, когда он плыл в обратном направлении, к стартовым тумбочкам, – примерно за пятнадцать метров до них дно, потемнев, резко уходило вниз, образуя яму для прыжков с вышек, – не дожидаясь этого места, Борька предусмотрительно закрывал глаза и вновь открывал их уже на глубине – метрах в пяти от бортика: здесь дно уже шло себе ровно, трудноразличимое сквозь толщу взбаламученной пловцами воды, – и было не так страшно. Заметим здесь же попутно, что на *скоростные показатели* Борькиного плавания подобные душевные метания влияли, разумеется, не самым благоприятным образом – ну да об этом позже…

…Наконец сладив с упрямым краном – добившись *равномерно-приятного течения теплых вод,* – Борька занял вожделенное место под нимбом распылителя и с наслаждением вытянул руки вверх. Падающие струи сладко щекотали ладони, подушечки пальцев – мальчик слегка поворачивал кисти рук из стороны в сторону, стараясь поймать в них как можно больше: вода ломким опоясывающим ручейком спускалась затем по предплечью, затекая под мышку, и одновременно отрывалась от локтевой выпуклости параболическим водопадиком – Борька какое-то время завороженно глядел на этот водопадик, боясь даже переменить надоевшую позу: так же точно и с тем же выражением лица, с каким много лет спустя в Витебске, в умывальной заштатного гостиничного номера, он с замиранием сердца станет есть глазами брильянтовое водяное ожерелье, опоясывающее томно отставленную ножку маленькой, похожей на ладную загореленькую ящерку Любки Ткачук – смешливой Борькиной однокурсницы…

…Было приятно и как-то на удивление спокойно на душе, словно бы ничего и не произошло, – желая еще раз убедиться в этом, Борька намеренно вызвал в памяти события случившегося четверть часа назад позора – и не почувствовал знакомого уже ему с высоты девятилетнего жизненного опыта укола неприкаянности, возникающего, когда стыдно или когда виноват, и рассасывающегося потом лишь под действием времени. Не почувствовал и принялся перебирать происшедшее – от самого начального момента: неожиданного появления возле их третьей дорожки старшего тренера – Николая Николаевича Нусалиева, по кличке Нос. «*Так… Гольцов… прервать упражнение… выйти из воды…*» Недоумевающий Борька подчинился и, подныривая под натянутые поперек его пути пенопластовые разделители, в несколько гребков

достиг одной из четырех алюминиевых, с широкими трубчатыми поручнями, лестниц, опущенных с углов в чашу бассейна. Ухватился за эти поручни обеими руками, молодецки подтянулся и через секунду стоял уже наверху – обтекая хлорированной водой и в мгновение ока покрываясь гусиной кожей:

«Подойди к столу, Гольцов… живее…» Даже делая несколько хлюпающих шагов босыми ногами в сторону тренерского стола – туда, где, склонившись над какими-то бумагами, сидел в этот момент их непосредственный тренер, Игорь Петрович Кирсанов (*Кирс*, соответственно), – мальчик не предполагал причины проявленного к его, Борькиной, персоне столь экстраординарного внимания: «Скорее всего, спросят что-нибудь про адрес или где родители работают – и запишут потом в журнал… а может, и про летний лагерь спросят – поеду ли я или нет – некоторых мальчиков, я видел, спрашивали, правда, перед разминкой обычно или, наоборот, в конце…» Все же Борька решил, что какова бы причина ни была, минут пять времени постылого плавания она съест уж во всяком случае, – и потому особо спешить не надо. И эта совокупность ощущений – наслаждение убивающей время обыденностью простых, служебных, по сути, движений – также вернется к Борьке, по крайней мере, однажды, через много лет, в самый скучный сдвоенный день за всю его студенческую молодость, – проведенный под замком в приемнике-распределителе Самаркандского ОблУВД. Двадцать медленных шагов по коридору в кабинет дежурного майора, попивающего, смешно вытягивая губы, чай из пиалы, столько же шагов обратно, снятие отпечатков пальцев – сперва каждого пальчика отдельно, затем всех вместе, затем отдельно большого и указательного и все заново для другой уже руки – после чего поход под конвоем к умывальнику с горсткой стирального порошка в соединенных лодочкой ладонях (смыть остатки типографской краски), – все это хоть как-то развлекало, убивало время, томительно напрягшее нервную ткань, и оттесняло куда-то на несущественный уровень главный Борькин тюремный ужас: что про него, такого хорошего и невинного, запертого сейчас в камере с четырьмя покорно-безучастными бомжами, в преддверии двух наступающих выходных *просто забудут и все*. Однако страшного не случилось, и на следующее утро его выпустили – в объятый лазурью небес, пахнущий персиками и дынями среднеазиатский роскошный август – и страхи прошедшего дня стали казаться лишь заурядным приключением, смешным отголоском забытых кошмаров детства…

«Подойди ближе, Гольцов… – закончив с бумагами, Кирс поднялся со своего места, – *ближе к столу, еще ближе…»* Повинуясь, Борька подступил к столу вплотную, едва не уперся в него грудью – высокий и грузный Кирс был теперь меньше чем в метре от мальчика, пришлось даже немного запрокинуть голову, чтобы как следует увидеть его глаза…

«Гольцов… – Кирс вдруг слегка закашлялся, одновременно Борька увидел боковым зрением, как Нос вышел из-за его спины и тоже встал рядом со столом, чуть сбоку. – *С сегодняшнего занятия, Гольцов, ты отчисляешься. Скажешь маме: в ряду обязательных мероприятий по подготовке к весенне-летнему тренировочному циклу каждый год мы производим и будем производить отчисления неперспективных пловцов. Ты понял меня? Вот и отлично. Все. Можешь теперь идти домой. Будь здоров…»*

Говоря честно, даже и в это мгновение среди вороха непричесанных чувств ощутимо главенствовало предвкушение свободы – оно не то чтобы порождало в Борькиной душе явную радость, но словно бы звонило настоятельно требовательным колокольчиком: имей, мол, в виду, малыш, что я тоже здесь! Что бы ни случилось иного, а я уже здесь и никуда отсюда не исчезну!

…И тем не менее, Борьке казалось, что все в тот момент на него смотрят, – с гулким шумом лупят свои *4 х 100* и *6 х 50* и одновременно наблюдают за ним внимательно, слышат

каждое слово. Мальчики и девочки, с которыми он даже и не познакомился за полтора года, – лишь запомнил случайно некоторые их фамилии, в силу каких-то причин чаще других выкрикиваемые тренерами: Зубов, Коноваленко, Ларионова, а также какой-то чудной *Батыщеренов* (узкоглазый и жирненький) – его всякий раз выкрикивали с вынужденной паузой после второго слога… Правда, был вначале еще и Ленька, неожиданно для Борьки оказавшийся в их группе веснушчатый сосед по ореховским дачным малинникам, но и он перестал ходить с прошлой осени, наверное, или даже раньше еще…

В общем, это было первое в Борькиной жизни *одиночество* – по счастью, он не знал еще тогда этого слова и потому воспринимал происходящее почти как должное, – словно бы в общем ряду неприятных, однако вполне переносимых бытовых повинностей, вроде выноса мусорного ведра на помойку или мытья рук по возвращении с прогулки…

…Впрочем, однажды случилось, казалось бы, и происшествие противоположного толка – Борька оказался вдруг в центре всеобщего внимания – в фокусе зрения нескольких десятков глаз, ждущих, насмешливых, друг от друга неотличимых. В тот день половина бассейна была отдана тренировке прыгунов в воду – дорожки в той части не натягивались вовсе, а сами прыгуны, вдоволь накувыркавшись на батуте, с полчаса – не больше – крутили свои однообразные сальто, после чего бесследно исчезли в душевых. Природа, как предстояло узнать через несколько лет Борьке, пустоты не приемлет, закончив обязательную часть тренировки, Нос дал соответствующую команду, и все гурьбой помчались на трехметровый трамплин, со стартовой тумбочки всегда казавшийся очень низким, почти нависающим над головой. Побежал вместе с другими и Борька – и только там, наверху, вдруг понял, что не только не прыгнет, но даже и не сможет заставить себя пройти несколько шагов вперед по узкой зеленой жердочке. Мерцающая световыми отбликами лазурная водяная гладь была где-то безумно-далеко внизу, внизу же справа, на двух длинных деревянных скамейках, теперь сидела вся их группа, сидела и, как по команде, повернув вполоборота налево головы, вместе со стоящим рядом Носом жаждала Борькиного прыжка.

Ноги дрожали. Борька сделал свинцовые полшага и вновь скосил глаза на *замершую в ожидании публику* – скорее в недоумении, нежели ища какой-либо поддержки. Та же в ответ лишь рассыпалась нестройным смехом и затем, повинуясь, разумеется, дирижерскому взмаху тренерской руки, трижды проскандировала: «Пры-гай! Пры-гай! Пры-гай!» Борька сделал еще полшага, затем осторожный шаг назад – в сущности, он уже знал, что прыгать не будет, надо было аккуратно развернуться, пройти метра полтора к началу трамплина и спуститься по неудобным скобам-ступенькам. *Общественное мнение* его в этот момент уже особо не волновало, вернее – волновало, конечно же, но как-то параллельно с происходящим, отстраненно – и, заклеймив себя трусом, Борька *двинулся вспять*. То, что в подоплеке того *поступка* лежал отнюдь не только физиологический страх высоты, он тогда, понятно, осознать не мог никаким образом…

Честно говоря, про тот неудавшийся прыжок Борька сегодня и не вспомнил бы даже, если б не Нос, поспешивший на прощание добавить к словам Кирса свое, издевательское: «*Если хочешь, Гольцов, подойди к тренеру по прыжкам. Может, он тебя возьмет…*» Борька лишь кивнул на это, хмыкнув что-то нечленораздельное, – Нос в это время уже смотрел куда-то в сторону, правой рукой перебирая звонкое нечто в кармане своих роскошных, ярко-синих с тройными белыми лампасами, заграничных спортивных штанов. Еще пару мгновений спустя он извлек оттуда свисток и пригоршню серебряной мелочи, вывалил все на стол, указательным пальцем отделил несколько монеток в сторону и, пододвинув их на край, спихнул обратно в подставленную горсть. «*Вот, возьми… здесь 2 рубля 15 копеек… это на резиновые очки, то, что ты сдавал в начале сентября, помнишь?..*» Борька помнил. Собирали сначала рубль семьдесят на плавательные очки, как у олимпийского резерва, сказали, что их только начали

выпускать в нашей промышленности и по этой причине еще долго не будет в свободной продаже. Потом заставили сдать еще по сорок пять копеек – сказали, что правительство изменило цену. Потом прошло три месяца, очков так и не появилось пока, но Борьке все же на секунду стало обидно, что теперь он эти очки не получит точно, – *а в общем, довольно любопытно было бы, конечно, узнать, какие они на самом деле…*

Словом, приняв деньги в две свои ладони, обескураженный Борька непроизвольно сделал гортанью как бы глотательное движение – однако тут же справился с подступившими эмоциями и не глядя сбросил мелочь в целлофановый пакет с полотенцем и мочалкой. «*До свиданья…*» – «*Будь здоров, Гольцов!.. Счастливо!..*»

…И потом – быстрые босые шаги прочь словно бы отливались эхом отовсюду – от сводчатого потолка, от пустых трибун и от по-зимнему черных фронтальных окон – «*я не приду сюда больше… ни за что… никогда…*»

…Ласково-теплая вода щедро вбирала Борьку в свой шелестящий изменчивый конус, словно бы смывая всё напрочь – обиды и тревоги, тягостное и гнетущее. Успокоенное сознание теперь изгоняло из себя сколько-нибудь неприятные или болезненные мысли, – лишь вскользь коснувшись злополучных прыжков с вышки, оно тут же, по неведомой цепочке образов и ассоциативных связей, перескочило сперва на увиденный недавно по телевизору «Остров сокровищ», затем, естественным уже порядком, – на книжку «Похищенный. Катриона» из «Библиотеки приключений», подаренную год назад на день рождения и с ходу прочитанную взахлеб. Потом вспомнились пухлые синие томики собрания сочинений Р. Л. Стивенсона, один за другим, включая стихи и показавшегося донельзя скучным «Сент-Ива», проглоченные Борькой осенью, – папа последовательно приносил их с работы и уносил назад спустя несколько дней… А дальше Борьке примечталось что-то уж совсем неконкретное – какие-то пиратские похождения, бородатые люди в ботфортах и треуголках, корабли и мачты, таверны и неведомый Борьке грог… Предвкушение грядущей юности подступило к нему изнутри бархатной своей волной – невнятной жаждой, вожделением диковинного колониального фрукта, который дали лишь надкусить, – таинственными тропками Борькины мысли разом скользнули по всем известным ему материям подобного рода и уже через миг параболой вернулись назад – сюда, в царство желтого с бурыми разводами кафеля и падающих водяных струй…

Вода, вода… обхватив себя руками, Борька опустил голову и, прищурившись от частых капель, падавших с намокшей челки, уставился на выщербину в полу примерно в метре от правой ноги – где-то около половины керамического квадратика недоставало, обнажившийся серый цементный раствор покорно намокал и даже исподволь крошился понемногу. *Наверное, скоро ремонтировать будут*, – подумал Борька. Он вспомнил, как в сентябре уже раз ремонтировали мужскую душевую: как-то после разминки они обычным порядком, пихаясь, галдя и размахивая мешками с принадлежностями, поднялись по лестнице на второй этаж, однако в дверях мужской душевой путь им преградила толстая тетка в вязаной кофте, та, что обычно сидит на входе и собирает абонементы. «*Здесь ремонт… сегодня идите туда…*» – она указала на соседнюю дверь с синей табличкой «ЖЕНСК. Д/К». Борька и другие мальчики послушно кинулись в эту дверь – благо она не слишком походила на вход в пещеру Али-бабы и не предвещала, в сущности, ничего необычного: из-за неё доносились те же знакомые звуки льющейся воды, сочился сквозь щели электрический свет – рассеянный и неяркий, посылаемый сквозь тонкую вату пара похожими на плоскодонные консервные банки фонарями, зачем-то заключенными в сетчатые проволочные намордники…

Итак, Борька шагнул вовнутрь – в теплые кафельные недра женской душевой – шагнул и, едва отойдя затем от саднившей лестничным сквозняком двери на несколько шагов, остановился в нерешительности. Абсолютно голая высокая молодая пловчиха сосредоточенно мыли-

лась в одной из ближних ко входу кабинок – Борька, а также оказавшиеся рядом с ним еще двое или, может, трое мальчиков тут же замерли в недоумении, как все равно по команде: было, в общем, неловко, неприлично, что ли… Словно бы ту тетку в кофте как-то не так поняли и на самом деле вовсе не надо было сюда идти… Все это: и Борькино замешательство, и последовательность сомнений, и странное чувство какого-то глубинного узнавания, как бы давно обещанной встречи с чем-то добрым, заботливо-дружественным – длилось краткие секунды, вряд ли дольше. Пловчиха улыбнулась, взглянув на них сверху вниз, и, поправляя мокрую прядь черных, как антрацит, волос, смытую случайно водой нá щеку, произнесла успокоительное: «*Проходите, проходите, мальчики… сегодня один душ на всех… не бойтесь…*» Еще мгновение спустя Борька сам уже стоял под душем – свободных кабинок действительно оказалось предостаточно. Надо ли говорить, что эту сумбурную встречу он потом вспоминал бессчетное множество раз – и чем взрослее становился, тем чаще, – со сладостно-напряженной тщетностью пытаясь выудить из памяти какие-либо подробности облика девушки и ничего, однако, не находя, помимо невнятно-волнующего привкуса молодой крепко сбитой телесности, оказавшейся нечаянно на расстоянии вытянутой руки и этой самой вытянутой руки, увы, не коснувшейся…

…Сквозь шум падающей воды Борькины уши уловили вдруг знакомый звук – разливистый, всепокрывающий протяжный свисток – тот самый, *финальный*, столь непохожий на короткие рабочие пересвисты тренеров. Стало быть, тренировка заканчивалась – через пять-семь, самое большее – десять минут в душевую повалят теперь уже бывшие Борькины товарищи – не желая с ними встречаться вновь, он решил закругляться: надо было осторожно выключить воду (оба крана синхронно, иначе – не ровен час – обожжешься либо окатишься холодной), затем спуститься вниз, в раздевалку, быстро одеться и, миновав длинный коридор, выйти, наконец, в вестибюль – туда, где бабушки в расстегнутых пальто, держа в руках термосы и завернутые в газетку стопки бутербродов, смирно ждут своих *внучеков*, плещущихся в *лягушатнике*. В отличие от этой малышни, Борьку никто не встречал – оказавшись в вестибюле, он обычно самостоятельно брал пальто в гардеробе, после чего подымался по узкой двупролетной лестнице в буфет, который, однако, чаще всего бывал закрыт. Все же иногда Борьке везло – несмотря на полное отсутствие посетителей, буфетчица оказывалась на месте и мальчик покупал у нее стакан какао за пять копеек, конфетку или какую-нибудь ерунду из песочного теста: колечко либо сочник. Буфетчица была жалостливая и суетливая, все время повторяла «да, малыш», «сейчас, маленький», интересовалась, как прошла тренировка и не холодна ли сегодня вода в бассейне, а в случае нужды позволяла расплачиваться вместо денег трамвайными или пятикопеечными автобусными талончиками – даже довольно мятыми.

Взяв свое какао, Борька обычно садился за самый крайний из пяти или шести пустых столиков – ближайший к широкому, почти во всю стену, окну. О чем размышлялось, глядя на огни ночной улицы – на плутоватые фары проезжающих автомобилей, светящиеся недра троллейбусов или неутомимую игру светофора, – едва ли мог сказать даже он сам. Во всяком случае, из времени Борька выпадал при этом капитально – зачастую пробудиться к действительности удавалось лишь с помощью той же буфетчицы, уже закрывшей, незаметно для Борьки, буфет и успевшей облачиться в темно-фиолетовое пальто с меховым воротником: «*Эй, малыш… я уже домой ухожу… все… ты слышишь меня?.. давай, допивай скорее свое какао… тебя, небось, тоже дома мама заждалась, так ведь?.. где, думает, мой малыш, куда запропастился?.. а он здесь – в стакане какао утонул… давай-ка, давай побыстрее… можешь оставить стакан здесь, я уберу завтра…*»

…Нарастающее многоголосье просочилось в душевую, – судя по всему, тренировка завершилась. Сейчас все построятся в ряд позади стартовых тумбочек, затем перед дрожащей и мокрой шеренгой появится Кирс со своим журналом – минуту он будет разглядывать что-

то в этом журнале, потом закроет его нарочито шумным хлопком, обведет всех неспешным взглядом, и, сказав пару слов кому-нибудь персонально, объявит, что тренировка закончена: «*До встречи в пятницу, в семнадцать двадцать!*» – «*До-сви-дань-е-и-горь-пет-ро-вич!!*» – рявкнет ему ответом вразнобой, и мгновение спустя четыре десятка босых ног зашлепают по полу душевой…

Опережая их, Борька подхватил пакет со своими пожитками (на секунду звякнули давешние носовские гривенники) и, закинув его почему-то за спину, рванул на лестницу – тут же в лицо ему ударило холодом и сквозняком, тяжелая дверь на пружине уступила, лишь когда мальчик пихнул ее плечом, и, пропустив Борьку нехотя, с усилием вернулась в исходное положение. Теперь в мужской душевой никого не было. Там, где только что стоял Борька, последняя, угасающая пригоршня воды низверглась из распылителя и, влекомая земным притяжением, пролетев два с половиной метра, достигла пола. Скатившись в стоковый желобок, она миновала соседнюю кабинку и, сделав два круга вальса над черной крышкой канализационного выпуска, исчезла, канув в сонмище просверленных рядами отверстий. Исчезла навсегда…

29.06.03 – 12.10.03

Девяносто третий год

Саше Иличевскому, каспийскому человеку

1.

Булочная на углу, кажется, была всегда – с открытыми для покупателей фанерными стеллажами во втором от входа зале, исправно наполняемыми с обратной стороны чьей-то невидимой рукой, с блестящей металлической трубой, укрепленной на металлических же стойках и образующей тем самым *направляющую для очереди*. Направляющую, с железной обязательностью приводившую покупателя к башнеобразной кассе, где под стрекот агрегата «ОКА» восседала необъятных размеров женщина в синем фартуке…

В первом же зале булочной было устроено некоторое подобие кафетерия – по фаянсовым стаканчикам разливали бежевый кофе с молоком, каковой предлагалось закусывать чем-нибудь рассыпчатым, песочным и лишь изредка – сдобным. Стульев, само собой, не полагалось – стояло три или четыре круглых одноногих столика примерно в мой тогдашний рост, даже выше, – однако не возбранялось и присесть на низкий подоконник оконной ниши, той, что смотрела на проспект, а не в переулок. И можно было съесть рогалик либо песочное колечко, глядя, как усталые озабоченные люди спешат себе в метро или на пригородные электрички… Зимой сидеть там, кстати, было приятно вдвойне: благодаря батарее, размещенной прямо под доской подоконника и сквозь специально просверленные в этой доске отверстия ласкавшей ягодицы потоками теплого воздуха.

Впрочем, указанной благодати – как и всякой другой – однажды пришел конец: в некий навсегда скорбный день «видовой» подоконник облюбовала бородатая бездомная старуха – и с той поры едва ли не поселилась на нем со своими вонючими сумками, мыча что-то нечленораздельное и выклянчивая у превозмогающих отвращение покупателей хлебные объедки либо мелочь.

Помню еще, что вечерами, после закрытия этой булочной, хлеб продавали всем желающим прямо через ее разгрузочное окно – буханки падали оттуда в руки теплыми, мягкими и сочащимися до того вкусным запахом, что я не в силах был донести их до дому в неприкосновенной цельности…

Прямо напротив булочной, через переулок, была сосисочная, где давали разливное пиво, а за ней, уже на проспекте, в подвальном этаже открылся тогда продовольственный магазин, казавшийся нам шикарным: гирлянды разноцветных лампочек творили новогоднюю сказку ежедневно – подсвечивая уложенные рядами заграничные консервные банки всевозможных форм, размеров и оттенков, а также мясные копчености, смотревшие сквозь вакуум упаковки нитритно-неестественной розовой свежестью. Магазин был длинным и узким – настоящая подвальная кишка, в дальнем конце которой, тем не менее, также удалось разместить кафетерий. Вернее, рюмочную – рюмочную, так сказать, нового, пореформенного типа: барабанила музыка из маленькой китайской магнитолы, на вертеле жарилась курочка или колбаса, их по мере готовности кромсали на части, сбрызгивали водянистым кетчупом из похожей на клизму пластмассовой бутылки и раскладывали на бумажные тарелочки. После чего закусывали этим полустакан какой-нибудь водки «Ельцин», «Распутин» или «McKormick». Или неведомо-польский ликер, вкусом, как говорят, напоминавший скипидар, а своим анилиновым цветом – те же новогодние лампочки.

Еще был продуктовый магазинчик – в доме восемь, в подвальчике, у входа в который, ожидая всегдашних мясных обрезков, тусовались две или три бездомные дворняжки; был ремонт пишущих машинок в доме семь на углу и другой еще магазин – для богатых, под светящейся вывеской «Наутилус», – уже на Гороховой, туда приезжали на иностранных машинах гладко зачесанные люди в длинных синих пальто – эта точка разорилась первой, кстати говоря.

И всего остального тоже нет сейчас уже – неизменной осталась лишь темно-зеленая хоккейная коробка, притиснутая к четырем уродливым тополям, облупленные бани напротив да сами дома как таковые: рукотворные скалы и утесы, прежде нас построенные, но имеющие все шансы нас здесь перестоять.

2.

…Той осенью появилась новая девочка в нашем дворе – Гульнара. Кокетка-память едва ли поможет мне теперь восстановить сколько-нибудь внятно черты ее внешности: не цепкая на лица, эта дама, как я не раз убеждался, предпочитает слова и жесты, уподобляясь, по всей видимости, какому-то диковинному телевизору, утопленному в серый космос коры головного мозга. Есть, правда, еще и запахи – эти, напротив, остаются навсегда, всплывая потом, годы спустя, по самому мелкому поводу и в самых неожиданных местах. Таких, например, как ультрамодная ориентальная лавка в старой Праге, куда я зашел на минутку, спасаясь от июльского дождя, и где мне тотчас же ударило в нос именно тем ароматом, что царствовал некогда на кухне гульнариных родителей…

Но обо всем по порядку: *в тот осенний день* никакой кухни еще не было и в помине. Собственно, и никакого знакомства в тот день тоже не было – просто Гульнара стояла и смотрела молча, как мы с ребятами пинаем мячик.

3.

Нас было четверо или пятеро даже – я, Славик Зырянов, который еще только год спустя сделается моим одноклассником, Вовчик, Стас Акимушкин, кто-то еще, кажется. Мы стояли возле той самой хоккейной коробки справа, если смотреть из переулка. Внутри коробки с десяток полуголых и потных парней, съехавшихся на видавших виды «восьмерках» и «пятерках», с остервенением играли в футбол, оглашая округу звонким и задорным матом. Мы же, подсознательно стремясь от них не отстать, стояли, как я уже сказал, рядом и, пиная найденный на помойке скособоченный и пропоротый в двух местах насквозь мячик, о чем-то разговаривали, выжидая, когда футболисты в запальчивости перебросят *свой* через ограждающую коробку проволочную сетку и, обратив наконец на нас внимание, попросят *подать* его им обратно.

Стало быть, мы болтали тогда о чем-то, что сейчас уже забыто навеки. Всего вернее, речь тогда держал Стас – как самый старший. Ему шел тринадцатый, тогда как нам всем было едва по десяти. Роль предводителя малышни выдавала в Стасе некое неблагополучие – физическое ли, социальное ли, – вынуждавшее избегать общения со сверстниками. Так оно, разумеется, и было, – о чем с достоверностью свидетельствовали его похабные и жестокие россказни, однако для нас, понятно, и они служили источником сведений о мире – источником щедрым и (слава богу!) единственным в своем роде.

Итак, был вечер, сумерки, мы валяли дурака возле хоккейной коробки, вполглаза наблюдая за игрой и вполглаза же – за погрузочно-разгрузочными работами аккурат напротив нас – через переулок. Собственно, ничего такого уж интересного возле подъезда дома тринадцать не происходило – стояла грузовая машина-фургон, из ее распахнутого чрева трое гориллоподобных грузчиков попеременно вытаскивали какие-то тюки, мебель, ковры, скатанные

в рулоны. Вытаскивали и, разумеется, тут же исчезали вместе с ношей в таком же распахнутом чреве подъезда.

Как и положено, хозяева за выгрузкой своих вещей наблюдали – рядом с машиной суетилась немолодая уже женщина в черном кожаном пальто и с повязанной ярким платком головою. А возле нее – будто большая кукла или манекен витрины магазина игрушек – неподвижно стояла черноволосая девочка моего примерно возраста, одетая несколько более плотно, чем требовал этот вполне еще теплый октябрьский вечер. Стоя спиной к матери и не обращая никакого внимания на перемещения диванов с чемоданами, она важно держала обе руки в кармашках обшитой галунами курточки и не отрываясь смотрела на нас, как мы валяем дурака с нашим помоечным мячиком.

4.

Черножопые подселяются – магия непонятного слова, некогда занозой вошедшего в сознание, не сотрется, как видно, до гроба – сколь ни разрасталось бы потом понимание вещей и обстоятельств. Какие черножопые? Черножопые кто? Что значит «подселяются»? Подселяются куда? Почему? Зачем? – все эти вопросы, порожденные фразой, сплюнутой Стасом сквозь зубы, и сегодня отдаются гулким эхом почти так же, как тогда, в тот неприметный октябрьский вечер. Сейчас я понимаю, что попал таким образом в двойную западню: заурядное непонимание контекста оплодотворилось еще и когнитивным контрастом – уничижительный эпитет никак не хотел сочетаться с этой круглолицей куколкой, такой игрушечной и ладной. Видимо, я это с ходу почувствовал, но, почувствовав, конечно же, не осознал. Точнее говоря – не обратил на подобное внимания.

И все же – запомнил. Возможно, из-за нечаяной экзистенциальной рифмы, случившейся в тот же день. В самом деле, вернувшись затем домой, я, как и следовало, угодил на семейный ужин: мать едва не с порога погнала меня в ванную мыть руки – и вот уже мы сидим втроем на кухне над своими тарелками. К обычным усталым беседам, медленным и немногословным, расслабленным просто по факту окончившегося так или иначе дня, тот веселенький год подмешивал исподтишка еще и некое такое нервное, словно бы металлическое подзвякивание – диковинную смесь затаенной обиды с чувством неведомой, но неизбывной опасности, от которого взрослым было не освободиться никак – даже в собственном доме в преддверии ночи.

Помню, отец, пришедший с работы в тот раз прежде матери, что-то долго и путано рассказывал про объявленные приватизационные льготы, отдающие их автобазу в полной мере на откуп начальству, развившему по этому случаю невиданную прежде активность. Кажется, мать в связи с этим спросила что-то язвительное про какие-то ваучеры – отец поспешил ей ответить, не особо содержательно, но тоже саркастично и витиевато, после чего настал ее черед сообщать о событиях дня.

– Соседи у нас новые теперь, – произнесла она с акцентом на слове «соседи», словно бы выкладывая аргумент в давнем каком-то споре.

– У нас? – не подымая глаз, отец подцепил вилкой жареный кабачок, – в нашем доме?

– В тринадцатом. Видела, как от метро шла. Барахло выгружали.

– И кто же? – прожевав, отец, наконец, поднял голову.

– Черт их знает. Кавказцы какие-то. В том подъезде, где… помнишь, там еще еврейская семья жила большая. Он – директор книготорга. Уехали.

Отец кивнул.

– Одни черные уезжают, другие им на смену, – мать не замедлила подвести мораль, – без них никак, похоже…

– Какие же евреи – черные? – отец тем временем освободил рот, – они не черные, они… (он на мгновение задумался) они хитрые, хитрожопые…

– Угу, – немедленно согласилась мать, – хитрожопые… на смену хитрожопым пришли черножопые!..

И затем хихикнула, довольная собственной остротой.

Так я вновь услышал это озадачившее меня слово – второй раз за считаные часы. Услышал и вновь не посмел спросить объяснения, – полагая, вероятнее всего, что получу его позже, не прикладывая специальных усилий. Как это и происходит почти всегда с незнакомыми, взрослыми словами.

Так оно, в сущности, и случилось.

5.

Уже вскоре мы познакомились. Не один я, разумеется, а вся наша компания: как водится у детей, без лишних церемоний и каких-либо никчемных прелюдий. Просто однажды, в обычный школьный будень, ближе к вечеру, когда уже начинало смеркаться, девочка-куколка, одетая в ту же самую курточку с галунами, вышла из своего подъезда, остановившись ненадолго, по давешнему обыкновению держа руки в карманах, обвела взглядом улицу и, заметив нашу группку (в том же составе и примерно на том же месте, что и в прошлый раз), довольно решительно направилась к хоккейной коробке.

– Меня зовут Гуля… можно мне поиграть с вами? – сказала она без обиняков, – мы с мамой и папой приехали из Баку… а теперь живем вон там, в зеленом доме…

Говорила она, как я заметил, вполне чисто, но все же как-то… как-то не так – окружая произносимые слова совершенно новым для нас, непривычным орнаментом пауз и тембров, слишком рельефным и эмоциональным, короче, выдававшим приезжего с неопровержимостью аэропортовой бирки на чемодане.

Меж тем, она вынула из карманов руки и протянула нам, очевидно, в подтверждение своих добрых намерений, две пригоршни пестрых кубиков, опознать которые всякий из нас смог без труда. Назывались они «Лав Из» и представляли собой изготовленную в Турции дешевую тинэйджерскую жвачку, цветастую и приторную. Вещь не так чтобы очень уж редкостную или категорически недоступную, но все же ценимую в нашем детском обороте, – во всяком случае, ценимую настолько, что впечатлял сам вид такого количества жвачек одномоментно, причем не в ларьке или стеклянной магазинной витрине, а, что называется, «на свободе», в руках нашего сверстника…

– Берите…

Все наперебой потянулись за гостинцами, принимая тем самым девочку в свой круг, – и лишь я краем глаза заметил, как Стас Акимушкин, не упустивший, по всему, шанса придумать для новичка что-то обидное и собравшийся было выдать это свое изобретение «на-гора», торопливо проглотил слюну, осознав, что удобный для этого миг, увы, упущен безвозвратно: нам теперь было не до его шуток. Впрочем, смирившись с неудачей, Стасик не замедлил взять реванш в виде причитавшихся ему нескольких завернутых в гладкую бумажку кубиков. Он аккуратно развернул один из них с торца, дурачась, положил на ладонь, после чего поднес эту ладонь ко рту, одними губами осторожно отделив резинку от упаковки, – так же точно, как и все мы, опасаясь повредить помещенный между фантиком и резинкой *вкладыш*.

Собственно, эти вкладыши и были основой привлекательности означенного детского сокровища. Сложенные пополам тонкие бумажки с двумя смежными сердечками в уголке, темноволосым мальчиком и рыжей девочкой, а также двуязычной надписью, объяснявшей, собственно, что именно love is. Все это – во множестве вариантов.

В принципе, их можно было бы даже использовать, практикуясь в английском, но вот беда – английский оригинал и его русский перевод совпадали отнюдь не всегда. Да мы

и не знали тогда английского, чего там, – но вкладыши все равно любили, увлеченно коллекционировали, обменивались ими ради полноты наших собраний.

В общем, вливание Гульнары в нашу маленькую дворовую стаю прошло в тот день «на ура», можно сказать, само собой – и лишь потом, по прошествии времени, я узнал невзначай, что сама идея угостить тогда всех нас жвачкой принадлежала Гулиной матери, не считавшей правильным пускать на самотек социализацию дочери и все это время незаметно наблюдавшей за нами с высоты своего четвертого этажа.

Помню, мы еще какое-то время топтались у коробки, затем вдруг снялись с места и, нырнув в одну из подворотен, вывалились всей компанией с другой ее стороны – прямо на Лазаретный переулок. (По пути Стас все-таки не сдержался – и, подойдя сзади словно бы невзначай, запихал Гульнаре за шиворот ставший ненужным фантик. И тут же, обогнав ее, рванул вперед, словно бы ничего не случилось вовсе.)

Так вот, в Лазаретном было наше собственное государство: простиравшееся от осыпающегося окаменевшей известкой фасада опустевшего, осужденного на капитальный ремонт Военно-медицинского музея и до самых задворок овощного лабаза, вписанного, в свою очередь, в ряд выстроившихся вдоль Загородного проспекта киосков. (Пройдет несколько лет, и на месте этого овощного возведут второй в городе Макдональдс – бело-серый и колончатый, в нехарактерном для подобного заведения ампирном стиле.)

Удивительно, но здесь, в какой-то сотне метров от вокзала, с его толпами возбужденных белорусов, только что вывалившихся из вонючих общих вагонов, чтобы продать на питерских улицах несколько палок гомельской колбасы, действительно было пустынно: редкие прохожие торопливо проскакивали транзитом, направляясь в ту самую подворотню; иногда какие-то сомнительные фигуры ненадолго сбивались в группки по два-три человека, тревожно оглядываясь, что-то передавали друг другу, торопливо отсчитывая банкноты, и тут же рассеивались, вписавшись еще через миг в привокзальную толчею. Или кто-то, свернув с проспекта, уединялся отлить возле одной из старых, покосившихся лип – слава богу, тоже нечасто…

Короче говоря, нам там никто никогда не мешал – это было неприкосновенное пространство нашего детства, секретное и сакральное, – и мне порою кажется, что каждому человеку везде и всегда судьба так или иначе, но припасает в соответствующем возрасте нечто подобное: завязывается узлом, делает невозможное, но припасает, вопреки любым сложностям и ограничивающим жизнь обстоятельствам. И лишь от нас самих зависит то количество радости и тот опыт, который мы обретаем в итоге благодаря подобной опеке, – выбросим ли мы с годами все это на свалку памяти или же, напротив, поместим в сокровенный ее ковчег. Ну, да я отвлекся…

Сейчас уже не вспомнить, само собой, что именно мы там делали, в этот день знакомства – отложилась лишь следующая странная сцена: Гульнара стоит возле грязно-розовой стены музея и, пользуясь осколком штукатурки как мелком, рисует на ней какие-то горы, море с корабликом, а потом пишет странное слово «Сумгаит». Зачем? Ради какой нашей игры? Бог знает…

6.

Потом я узнал, что ее отдали в 306 школу, ту, что на углу Верейской и Клинского, – «английскую», недалеко от моей «обыкновенной», 267. Кажется, во втором или третьем классе нас даже водили туда на какой-то утренник или, может, спортивный праздник…

Выяснил я это, что называется, опытным путем – то бишь, встретив Гульнару по пути домой, на Загородном. Синхронно возвращаясь после уроков, мы почти одновременно очутились и на проспекте, влившись в него каждый со своей улицы и оказавшись, таким образом, метрах в семидесяти друг от друга. Узнав девочку, я быстро нагнал ее, и мы пошли вместе – на перекрестке с Введенским каналом, терпеливо дождавшись разрешающего зеленого сигнала, перебежали на другую сторону и, разговаривая, почему-то направились к Фонтанке вдоль

глухого бело-желтого забора, из единственных ворот которого как раз перед нами выехало что-то защитного цвета с брезентовым верхом и черным минобороновским номером.

– А тут у нас госпиталь… – поведал я спутнице тоном записного экскурсовода, – военная медицинская академия… здесь всех солдат лечат…

– Я знаю, – девочка кивнула в ответ. И неожиданно добавила:

– Мой папа ходил сюда… к врачу.

– Но это ведь только для военных больница? – удивился я, до того момента полагавший военных сродни воробьям или синичкам, то есть хоть и живущими у всех на виду, но никаким боком с нами, обычными людьми, не соприкасающимися.

– Ну да, для военных, – согласилась Гульнара, – мой папа и есть военный… он – генерал…

Нельзя сказать, что услышанное как-то особенно меня поразило. Ну, генерал – и генерал: возможно, там у них, в Баку, все папы девочек – генералы. Все же я не отказал себе вообразить этого человека таким, каким он, по моим понятиям, должен был быть: высоким, толстым и вместе с тем широкоплечим, почему-то непременно лысым, в туго сидящем кителе, фуражке с высокой изогнутой тульей и разлапистой кокардой. Увешанным немыслимым количеством всяческих эмалевых и золотистых побрякушек: галунов, пуговиц в несколько рядов, медалей и орденских планок, петлиц, шевронов, аксельбантов… В общем, полного антипода тому, с кем мне пришлось познакомиться всего лишь несколько дней спустя. В жизни отец Гульнары оказался среднего роста, даже скорее мелковатым и при этом чуть сутулым, узкогрудым, коротко подстриженным мужчиной с седеющими усами и бакенбардами, одетым в серый, ничем не примечательный, но явно не новый пиджак, под которым виднелась бежевая шерстяная жилетка. Здороваясь, он протянул мне узкую в кости старчески-сухую ладонь и очень несильно, едва ли не символически, пожал мою. При этом генерал улыбнулся какой-то понимающей и вместе с тем виноватой улыбкой, словно бы слегка извиняясь. Как бы досадуя на то, что не имеет сейчас возможности обсуждать с нами детские наши проблемы, однако пребывает при этом все же в твердом убеждении, что и сам я способен справиться с ними наилучшим образом к удовольствию и выгоде его дочери. Конечно, это была восточная риторическая маска, что же еще – но даже сквозь нее я ощутил тогда какой-то непривычный, прежде ни разу не испытанный мною и, в общем, оказавшийся приятным тон: подумать только, этот незнакомый человек смотрел на меня в некотором смысле, как на взрослого мужчину, – а не так, как обычно родители и школьные учителя!

Но все это случилось потом, три или четыре дня спустя.

7.

В тот день, сделав кое-как уроки и не найдя, чем заняться дома, я по обыкновению сбежал на улицу. Там, однако, меня постигла неудача: обойдя все укромные места от Гороховой и до Введенского канала, заглянув затем в Лазаретный, я так и не встретил никого из нашей компании – все словно бы сговорились и свалили куда-то удивительным образом. Либо наоборот, сидели по домам – даже Стас Акимушкин, с его вечно пьяной мамашей.

Одному гулять не хотелось. Я уже было решил возвращаться в родительские пенаты, как вдруг заметил Гульнару, по всему, увидавшую меня первой и старательно махавшую мне рукой от самой двери своего подъезда.

Выяснилось, что мать послала ее за хлебом, но как раз булочная на углу была в тот день закрыта по какой-то неведомой никому причине. Другого подобного заведения, расположенного поблизости, девочка еще не знала и, по всей видимости, растерялась не на шутку – интонации, в которых она это мне рассказывала, не давали шанса отделаться одним лишь вербальным советом. Впрочем, я, кажется, и рад был развлечься. В общем, мы пошли вместе – в магазинчик на Гороховой, рядом со сберкассой, тот, что почти у самого областного военкомата. Хлеб

в нем, как я помню, был удивительно черствым всегда – в любой день и час, словно бы его специально выдерживали, прежде чем выложить на полки. Как им удавалось добиться такого результата – одному богу ведомо.

Все же Гуля набрала несколько буханок, запихала их в какую-то странную матерчатую сумку с металлическим ободом, и мы двинулись обратно. И вот тут, кажется, я поймал в себе то странное ощущение… которое и вправду не знаю, как выразить… даже сейчас! В общем, я почувствовал, что мне действительно приятно идти вот так, рядом с этой игрушечной девочкой, почти куколкой, хотя бы даже и умеющей говорить и шевелиться. Что я могу так шагать и шагать с ней долго-долго по этим грязным улицам и никогда не устану, и не надоест мне это нипочем… Какие чувства при этом испытывала сама Гульнара, сегодня и вовсе не знаю, – тогда же я об этом, понятно, меньше всего задумывался.

Что-то ведь испытывала наверняка – потому как не особо спешила домой. Мы перебежали назад Гороховую, какое-то время проторчали перед витринами «Наутилуса», бог знает, что там высматривая, затем на еще не застроенном тогда пятачке перед угловым домом заняли покосившуюся, с ножкой, наполовину просевшей в земные недра, скамейку, вытащили из Гулиной сумки верхнюю буханку и, отломив по нескромной краюхе, начали есть, как ни в чем не бывало. Дорого бы я нынче дал, чтобы припомнить содержание тогдашних наших бесед, – но, как известно, произнесенные слова всегда ускользают бесследно, рассеиваясь в пространстве, – и разве лишь достигнув когда-нибудь внутренней скорлупы Вселенной, гулким эхом отражаются затем в обратный путь, спеша вновь к нашим ушам, – да только нас уже не застанут…

В общем, сколько-то времени мы просидели на той скамейке, затем вдруг встали – сперва она, потом я – и двинулись… двинулись к Гуле в гости. Она предложила, а я – согласился, кажется, в то время, когда еще на скамейке сидели. Короче, мы встали и пошли – Гулину матерчатую сумку теперь тащил я, причем делал это с удовольствием, а вы как думали?

В тринадцатом доме я до того и не бывал ни разу. Помню, мы пешком поднялись на четвертый этаж, Гуля с трудом дотянулась до очень высоко прибитого звонка – и нам открыла та самая женщина, которую я некогда видел надзиравшей за выгрузкой мебели.

Впрочем, едва ли я ее узнал тогда – все-таки видел до этого мельком, издалека, да и никакого интереса к ней при первой встрече не испытывал. И вот теперь она оказалась совсем рядом, стояла в прихожей, пока мы раздевались, произносила какие-то положенные слова с такими же, как у Гули, необычными интонациями. Это была невысокая, широкая в кости восточная женщина, на вид лет тридцати пяти – сорока, с гладко зачесанными на затылок и собранными там черными волосами. Лицо ее, само по себе ничем не выдающееся, несло, однако, какую-то очень выразительную печать, которую я, даже несмотря на юный возраст, прочитал тогда без труда и запомнил надолго. Или, может, просто запомнил тогда, а расшифровал уже потом, повзрослев и разобравшись, что к чему. Так вот, лицо этой женщины словно бы говорило всем: «ну, что же делать – обстоятельства плохи и станут еще хуже в дальнейшем – однако же я должна и буду противостоять этому, и сделаю все как надо. Поскольку знаю очень хорошо – как именно надо.»

Сняв уличную одежду, мы прошли в одну из комнат, *залу,* как назвала ее девочка, – возможно, самую большую в этой многокомнатной квартире. Я же отметил, что тапочки ни мне, ни Гуле не выдали, – мы так и остались босиком, что, впрочем, не причиняло неудобства, поскольку все полы в квартире, помимо прихожей, были застланы коврами. Вообще, ковров было непривычно много – это сразу же бросилось в глаза. Еще запомнились портреты – мужской и женский, рисованные, а не фотографические. Они висели в углу, друг рядом с другом, и изображали, по всему, Гулиных родителей совсем молодыми. Молодыми до трудноузнаваемости. Что-то еще было странное в тех портретах – я это тогда почувствовал, но объяснить не сумел. Сейчас мне кажется, что этой странностью был такой провинциаль-

ный, любительский уровень художественного мастерства, – обычный для интерьеров среднего достатка полуторавековой давности и вытесненный примерно тогда же раскрашенными дагерротипами. Впрочем, может, я это и додумываю – все же, бог знает, сколько лет прошло.

Тем временем, оставив меня ненадолго, Гуля выскочила куда-то и через долю минуты вернулась, держа в руках большую деревянную коробку наподобие шахматной, но чуть шире и тоньше.

– В нарды будешь играть?

Я не знал, что такое нарды, и как-то неопределенно пожал плечами.

– Смотри…

Она села рядом, разложила доску и принялась объяснять мне правила, оказавшиеся, впрочем, не сильно сложными, и уже вскоре мы начали партию. Кажется, во время второй или третьей в комнату вошла Гулина мать и поставила перед нами блюдо с какой-то выпечкой, похожей одновременно и на слоеные рулетики, и на печенье.

– Ешь… это гатá… такая армянская сласть… моя мама – армянка…

Сказав это, девочка не замедлила показать пример.

– Она очень вкусно печет гату…

Я взял кусочек следом за ней. Действительно, оказалось довольно вкусно.

– А папа?

– Что папа?

– Папа тоже – армянин? – меня вдруг разобрало любопытство, помноженное на желание щегольнуть знанием географии, – Баку это же Азербайджан, а не Армения?

Я еще не знал, что так прямо ставить вопрос – невежливо. Впрочем, Гуля, казалось, тоже этого не знала или же отнеслась к моей бестактности со снисходительным пониманием:

– Да, – она несколько раз кивнула, – Баку – Азербайджан. И папа тоже – азербайджанец, он – генерал, он работал с Муталибовым, а когда пришел народный фронт, все, кто был с Муталибовым, уехали в Москву. Мы тоже жили летом в Москве, потом сюда.

– Насовсем?

Девочка задумалась.

– Папа говорит, не насовсем. Но надолго. Потом, может, поедем еще куда-нибудь. В Германию. Туда, где папины враги нас не найдут. А в Баку мы больше не вернемся.

– А какие у него враги?

– Не знаю. Ходи, не отвлекайся…

Я потянулся за кубиком и одновременно вообразил этих врагов Гулиного отца, неподвижно смотревшего с портрета у меня за спиной. Почему-то они представлялись мне сродни тем маньякам, которыми нас все время пугали в школе, – видимо, иного сорта таинственных злодеев в моем детском арсенале в то время и не имелось.

Папа-генерал появился, наверное, час спустя. Я услышал, как хлопнула входная дверь, чуть погодя он зашел к нам вместе с гулиной мамой – вернее, мама осталась стоять в прихожей, глядя на нас в дверной проем. Смущенный, я поднялся с дивана, но генерал поздоровался со мной прежде, чем Гуля догадалась нас друг другу представить. Как я уже сказал, он не стал злоупотреблять детским обществом и вскоре позволил нам вернуться к игре.

В тот вечер довелось узнать еще об одном семейном обстоятельстве моих новых знакомых. Не отрываясь от доски, я, кажется, полюбопытствовал, всегда ли они жили втроем (имея в виду, конечно же Гулиных бабушек с дедушками, кого ж еще).

– Не. Не всегда, – немедленно ответила Гуля, – раньше Сурет еще с нами жил.

– А кто это – Сурет?

– Ну, Сурет. Он мой брат. Он старше меня. Только его больше нет потому, что его убили.

Она произнесла это как-то буднично, не подымая головы, так же запросто, как давеча на Введенском канале про то, что ее папа – генерал.

– Раньше жили вчетвером и у нас была большая квартира в Баку. И еще папины родственники приезжали часто.

Кажется, я мысленно совместил этих загадочных врагов Гулиного папы с теми, кто убил ее брата, – тут же вспомнил что-то про кровную месть, бывшую, как я слышал, в обычае у народов Кавказа. Автоматическим следствием подобных построений стала легкая тревога за мою подружку. Однако это чувство лишь мелькнуло августовской падающей звездой – и только: партия в нарды, конечно же, занимала мое внимание в решительно большей степени.

Помню, дома мне тогда изрядно всыпали за позднее возвращение. Когда я протиснулся в дверь, отец как раз надевал пальто – собирался уже на поиски, по всему. Однако же подобный родительский реприманд, в другое время, без сомнения, отлившийся бы слезами, прошел на этот раз словно бы над головой: я как бы из другой вселенной слышал все это, не только хлесткие мамины инвективы, но и собственные оправдания – в согласии с жанром, вялые и бессодержательные. Словно бы я находился не здесь, не в отчем доме, – но уже и не в недавних гостях. А как бы ушел куда-то к себе – туда, где только я и никого нет больше, и где поэтому мне исключительно хорошо и сладко.

И это было ново для меня и как-то, в общем, удивительно.

8.

Так я стал бывать там. Не скажу, чтобы часто, но уж всякую-то неделю точно – а иногда и по нескольку раз даже. Вскоре я научился поутру выскакивать из дому с таким расчетом, чтобы идти в школу вместе с игрушечной девочкой. Обратный путь мы тоже нередко проделывали вдвоем – но тут уж все зависело от множества обстоятельств, как повезет. Зато по дороге из школы мы могли застрять возле привокзальных ларьков, выстроившихся вдоль проспекта, словно невесты на выданье. Не обращая внимания на несильный, но все же отчетливый запах застарелой мочи, обволакивающий эти форпосты рыночной экономики, мы обходили каждую из будок с трех сторон, с любопытством разглядывая их ассортимент, не знавший пределов в своем разнообразии. Иногда, коли память не подводит, даже что-то там покупали. Так, однажды скинулись и сообща приобрели «киндер-сюрприз» – полое шоколадное яйцо с помещенной внутрь игрушкой. Шоколадную скорлупу поделили поровну и съели, а вот сидевший внутри голубой бегемотик разделу не подлежал, и я великодушно уступил его своей подружке. За что был невдолге вознагражден – не прошло и трех дней, как Гуля, в свою очередь, подарила мне серо-зеленого трансформера, доставшегося ей при разделе завезенной в школу *гуманитарной помощи*. (Так в те годы величали тряпки, расфасованную еду и, реже, другие повседневные блага, предоставлявшиеся иностранными благотворителями и в самом деле порой раздававшиеся у нас бесплатно.) Что же до трансформера – то эта пришедшая из мира киноанимации игрушка являлась еще одним видом детского сокровища, ходячей валютой и мерою престижа – наряду с уже упомянутой коллекцией вкладышей от «Лав Из» или же маленькими такими каучуковыми мячиками непонятного назначения, невесть откуда бравшимися и непонятно куда потом исчезавшими бесследно… В общем, я был рад подарку донельзя – но вот, хоть убей, не припомню теперь, какова дальше стала его судьба. Ну, а как вообще десятилетний мальчик должен играть с единственной своей пластмассовой куколкой?..

Пожалуй, к этому стоит добавить, что в гостях у Гули я даже ужинал иногда. Разумеется, соблюдая положенные церемонии, – в той мере, в которой сам их понимал в том возрасте, то есть отклонив подряд два первых приглашения к столу и согласившись лишь на третье. Трапезничали всякий раз вдвоем с девочкой, без взрослых: ее мама лишь накрывала нам и после стояла рядом, глядя, как мы едим, и улыбаясь. Иногда она все же нарушала молчание и задавала какие-то короткие вопросы – о моих родителях, о том, как мы живем, что у нас обычно

готовят и так далее. Отвечал я столь же кратко, не переставая жевать. Женщина выслушивала не перебивая и лишь согласно кивала головой. Или напротив, мотала ею из стороны в сторону – в зависимости от контекста. Сама же она, как мне сейчас кажется, ничего тогда нам не рассказывала – разве только запомнились ее довольно эмоциональные замечания про овощи, продающиеся всякий божий день на бакинском базаре, и, конечно же, не чета здешним, с Кузнечного рынка, из которых вовсе невозможно приготовить ничего стоящего… Видимо, она повторяла это многократно – коли так врезалось в мозг.

Впрочем, опасения Гулиной матери казались преувеличенными: «приготовить что-то стоящее» ей удавалось вполне. Названия кушаний, которыми меня потчевали, я тогда не запомнил (или даже мне их не называли вовсе) – но то, что это что-то, очень отличное от поедаемого дома, я, конечно же, не мог не понять.

Хотя, вру: одно название застряло в моей тогдашней памяти достаточно прочно – *долма*. Эти странные голубцы в виноградных листьях – их мы с Гулей ели не раз и не два, так что я имел шанс научиться их узнавать. Еще были интересные супы: один как бы молочный, кисломолочный, и к нему давались такие маленькие фрикадельки. Мне не так чтобы безумно понравилось – но все же съел без большого усилия. Второй же показался мне ощутимо вкуснее – бараний суп с картошкой и горохом, который вынимали прямо в тарелках из духовки. Не знаю, что это была за кулинарная традиция: армянская или же азербайджанская, – но сильнее прочего, как я уже сказал в самом начале, меня, конечно же, поразили запахи. Оказалось, что еда, вот-те раз, может пахнуть не своими ингредиентами, предваряя их вкус, – мясом, картошкой, там, чем-то еще, – а какими-то специальными ароматами, действующими на воображение и чувства как бы независимо от собственного вкуса и фактуры поедаемой субстанции. И это тоже стало открытием для меня – которым уже по счету, связанным с игрушечной девочкой из Баку.

Дóма к моим ужинам в гостях отнеслись с каким-то странным, настороженным удивлением, словно бы предполагая подвох или, на худой конец, сильное преувеличение. И лишь настойчивые отказы от родительских пельменей, кажется, убедили мать в правдивости моих слов – она всякий раз недоверчиво пожимала плечами, после чего с деланным шумом убирала со стола накрытую тарелку, каждым движением своей руки демонстрируя сомнение и неизводимый скепсис.

Наверное, после второго или третьего посещения дома номер тринадцать мне пришло в голову склонить девочку к ответному визиту. Не знаю, ощущал ли я уже тогда долг гостеприимства per se, или же неосознанно решил восстановить покосившуюся симметрию отношений, – да, по большому счету, теперь и неважно. Короче, однажды я пригласил Гульнару к нам, о чем после искренне пожалел – притом, что ничего такого ужасного, в сущности, и не произошло.

Просто вот как раз восстановления симметрии и не случилось, считай, вовсе. Все обернулось как-то не так, как-то неправильно, сейчас бы я сказал – в *нарочито пародийном ключе*. Короче, мне потом стало стыдно – так, наверное, будет точнее.

Стыдно за все, начиная с выражения лица… с выражения лица матери, когда она, открыв нам дверь, убедилась, что я пришел не один. (Говоря откровенно, я что-то такое предчувствовал заранее – еще когда испрашивал разрешения, а точнее – предупреждал о возможном приходе гостьи: маленький хитрец, я конечно же выбрал для этого *правильный* момент, когда матери трудно будет мне как следует возразить, не отвлекаясь от поглотивших ее неотложных дел.) В общем, появление Гули не то чтобы стало для матери неожиданным, но как бы оказалось результатом действия, мнение ее о котором осталось невысказанным и не принятым во внимание. Ей было обидно. Возможно, это и предопределило результат.

В общем, мать приняла нас с каким-то демонстративным равнодушием. К девочке за все время она, кажется, обратилась лишь раз – указав, куда бросить одежду. Позже она вошла в комнату, где мы играли, и сообщила, что на кухне для нас накрыт чай. Произнесла это сухо и ровно, глядя куда-то мимо наших голов, после чего повернулась кругом и вышла, прикрыв за собой дверь, – словно бы какой-нибудь плохой дворецкий из телефильма про старинную Англию. Мы наскоро закончили очередную партию в морской бой и поскакали на кухню, где нас ждало воистину спартанское угощение: чай, причем отнюдь не свежезаваренный, и к нему – вчерашние жестковатые сушки. Кажется, было еще яблочное варенье – но даже его я сам достал из шкафа, почувствовав несуразность происходящего.

Отец в тот день появился поздно, когда Гуля уже ушла. Впрочем, я не уверен, что отцу, вернись он домой раньше, пришло бы в голову зайти к нам поздороваться: всего вернее, он, налив себе на кухне некрепкого чаю и наскоро сварганив бутерброд с толстым неровным шматом розовой колбасы, ушел бы, унося это добро в спальню, откуда сквозь щель в двери призывно надрывался и надрывался телевизор.

Ну и сущей вишенкой на этот своеобразный торт стала фраза, оброненная позже матерью, – обращенная как бы ко мне, но при этом и не ко мне одному – так сказать, городу и миру:

«Сопливка эта твоя… уж больно бойкая, смотрю, она в чужом доме… ты там гляди, как бы чего… с этими черными – черт их знает…»

Как-то, в общем, так, или, может, вроде того…

9.

Потом была эта история с Барби, точнее, не с Барби даже, а… В общем, уже настала зима – хотя, нет, опять вру: еще только начался ноябрь, пока еще бесснежный, серо-коричневый, точнее даже – просто серый и лишь слегка приправленный сепией. Взрослые тогда ходили поголовно в кожаных куртках коричневого же цвета, привозимых во множестве из Китая и Турции. Это стало своеобразной колористической меткой года – сродни тому, как меткой года ушедшего были пастельных цветов пуховики, тоже китайские, с вышитой непонятной надписью «*Verospumina Diadora*». Такие пуховики слыли признаком чаемого достатка и текущего благополучия (о чем знали даже мы, малолетки) и, однако, оказались одноразовыми: прошел всего лишь сезон и они почти полностью исчезли с наших глаз, сменившись этими самыми коричневыми кожанками.

Впрочем, одно вполне цветное, чуждое серо-коричневой гамме воспоминание у меня сохранилось от того ноября – оно прямо-таки застряло в глазу невымываемой соринкой. Это – гроздья рябины, спелые, пунцовые, венозные, проступившие на ветках видавшего виды дерева после того, как оно лишилось маскировавшей их прежде листвы. В ноябре они были еще пышными, целыми – не попорченными дроздами, снегирями да свиристелями, – и словно бы манили, насмехаясь при этом недосягаемостью своей высоты… Но вот где же росло это запомнившееся так отчетливо дерево? В Лазаретном? Или за хоккейной площадкой? Теперь уже никак не восстановить…

Короче говоря, произошло вот что. Я сделал Гульнаре подарок – отдал ей эту самую куколку Барби. А вот откуда она взялась у меня самого, – ума теперь не приложу. Застряло лишь как-то связанное с нею слово «некондиция», что, похоже, многое объясняет. Здесь, наверное, стоит пояснить, что в те причудливые времена люди промышляли еще и продажей всяческой импортной некондиции – к примеру, жестяными банками какого-нибудь супа «Кэмпбелл» или «Анкл Бенс», слегка помятыми в заграничных супермаркетах и лишившимися ввиду этого шансов обрести там покупателя, – притом, что целостность самих банок оставалась ненарушенной. Подобные отходы оборота где-то там, за границей, консолидировали и постав-

ляли в Россию по смешным ценам. А уже здесь – продавали мимо магазинов, прямо из рук волконогих неунывающих агентов. Так россияне с месячной зарплатой в несколько десятков долларов приобщались к достижениям потребительской цивилизации. Кажется, что-то подобное имело место и с куколками Барби – поголовной мечтой наших девчонок. Во всяком случае, купить на свои карманные деньги нормальную Барби я точно был не в состоянии. Впрочем, все это неважно – а важно то, что подарку Гуля была рада необычайно. Помнится, я вручил ей Барби по дороге из школы, проводил ее до дому и, условившись выйти гулять в полшестого, побрел к себе. В полшестого я вновь был на улице – тем временем уже стемнело, и я сейчас могу лишь изумляться тому обстоятельству, что наши родители выпускали своих драгоценных чад гулять в столь поздний час и в столь неспокойное время. Но что было – то было.

И вот, встретив девочку на полпути между моим и ее домами, я с удивлением отметил, что куколку она взяла с собой на прогулку, причем несла ее не в кармане, а прямо в руке – словно бы не желая расставаться с ней ни на миг.

Куда мы двинулись? По всей видимости – в обычное наше место, к той самой хоккейной коробке. Мне, по крайней мере, так запомнилось – хотя и здесь, конечно же, возможна аберрация за давностью лет. Во всяком случае, мы вскоре присоединились к обычной нашей компании – болтавшейся возле этой коробки примерно с теми же занятиями и в том же составе, что и в день нашей первой с Гульнарой встречи.

Стало быть, мы подошли, и на нас обратили внимание. Разумеется, заметили Барби в руках у девочки – да и как было не заметить! И скажу, что оживление эта ничуть не мальчиковая игрушка вызвала у всех без исключения, – все-таки вещь была, как сейчас бы сказали, статусной.

Помнится, Вовчик задал Гуле какой-то вопрос, который я, отвлекшись, не разобрал, – зато отлично расслышал последовавший ответ:

– Это мне сегодня Саша подарил… – произнесла девочка даже с некоторыми нотками гордости, что ли, слегка растягивая первую гласную моего имени – У меня уже была, но потерялась, когда переезжали… а теперь снова есть!..

Внимание почтенной публики вмиг перенеслось на мою персону, даже заставив испытать укол мимолетного смущения не вполне понятной мне природы, – но все тут же прошло, не оставив следа, и в следующий момент я уже слышал, как Стасик Акимушкин, деланно скривив лицо и повернувшись к нам в три четверти, пробурчал:

– Подумаешь!.. Барби эта… чего с ней делать… вот у мамки моей новый хахель – тоже из ваших, из черножопых… так он приставку «Денди» обещал нам приволочь… и кассеты к ней… кучу… и палсекам конвертер!.. на фирме у себя сворует…

Сказал он это негромко, скорее, даже себе самому, – дабы легче было справиться с подступившей завистью, – однако высвобожденное слово, как водится, немедленно зажило свой жизнью, тут же проявив присущую ему подленькую и мстительную сущность.

Короче, Славик Зырянов, услыхав эти россказни, не преминул отреагировать, по своему обыкновению, весомо и безжалостно, да еще и рассмеявшись к тому же:

– Не ври!..

– Чево-оо? – возмутился Стас, – я говорю – правда! Ихняя фирма такая, что там всего навалом… а черножопому своровать – как высморкаться…

Но Славик был неумолим:

– Да знаем мы… у твоей мамки хахели… скорее, телевизор у вас самих своруют, чем принесут что-то в дом… или бутылку водяры, может…

Стаса аж передернуло. Я, наверное, впервые увидел, как человек от гнева меняется в цвете – от гнева, в единый миг переполнившего его, но так и не нашедшего для себя выхода: Стасик, как известно, был трусоват, мы же все трое – Зырянов, я и Вовчик – как бы представляли собой единую линию обороны, штурмовать которую он не решался.

Оставалась Гуля. На взгляд Стаса – слабое звено, лишенное какой бы то ни было поддержки. Вполне пригодное, чтобы отвести на нем душу. Поняв это, он шагнул к девочке и, встав к ней почти вплотную, произнес так, словно бы отвечал ей, а не Славику:

– С моей мамкой не забалуешь… Даже черножопые… будет выступать – мамка его вмиг на улицу выставит…

Гуля смотрела на него снизу вверх.

– Вас всех, черножопых, надо учить… не то заселитесь тут везде… некуда шагнуть будет…

Поток собственной речи, кажется, придал Стасику храбрости. Он слегка повернулся ко мне (мы с Гулей стояли рядом, можно сказать, плечом к плечу) и уже в мой адрес выпалил:

– А ты вот с ней водишься… а у нее на жопе черное пятно!… у них у всех так… их бог отметил, чтобы все понимали и не связывались… потому, что они – ворюги…

– Сам ты… – начал было я, но Стас не дал договорить. Неожиданно, как он обычно имел обыкновение делать, толкнул девочку так, что та отлетела назад, к поребрику и, не устояв на ногах, грохнулась в мокрую грязь.

Дальше, кажется, была драка. Помню, как нас разнимал кто-то – то ли Вовчик, то ли какой-то незнакомый взрослый мужик, то ли оба вместе. Помню как бы крупным планом (ай да я!) Стаса на четвереньках с обильно кровящей губой, помню, как сам вытираю под носом кровавую юшку, как тщетно пытаюсь запахну́ть лишившуюся двух пуговиц куртку, весь в грязи, словно картошка в лотке на рынке… И следующим кадром – заплаканная Гульнара, тоже выпачканная с головы до ног. В правой руке у нее – нелепый безголовый трупик Барби…

Возвращаться домой в таком виде – значило нарваться на гарантированные неприятности. Собственно, скандал с матерью был и без того неизбежен, однако стоило все же принять какие-то возможные меры ради его смягчения – ну хотя бы вымыть лицо и отчистить то, что удастся отчистить. (Пришить на прежнее место навеки потерянные в дворовой грязи пуговицы я, понятно, и не мечтал.)

В общем, мы с Гулей пошли к ней – благо раньше еще она сказала, что родители уехали куда-то и придут поздно ночью. Отложилось в памяти, что подымались на четвертый этаж чертовски долго – девочка несколько раз принималась плакать и всякий раз после этого глядела на меня как-то по-виноватому странно. Я даже взял ее за руку в какой-то момент и потащил – испугался, что так и останется сидеть на корточках на этой холодной и вонючей лестнице.

…Потом она долго возилась с ключом – по ходу дела опять начиная всхлипывать, но все же как-то превозмогла себя, втянула сопли и с грехом пополам входную дверь осилила.

Мы вошли. И вот, когда дверь захлопнулась за нами, Гулю вновь стало трясти – даже пуще прежнего. Сознаюсь, я растерялся. Потом, став старше и досыта наевшись этими обычными, в общем, женскими срывами, я, конечно же, научился с ними справляться – узнал, к примеру, что женщину в этот момент следует обнять за плечи, – но тогда, в десять лет, мне до подобного знания было еще очень и очень далеко: я лишь догадался вновь взять девочку за руки, и она этому, в общем, не противилась – хотя обе ее ладошки оставались безжизненно-вялыми, холодными и сухими.

Потом она чуть-чуть успокоилась – или, может, мне так показалось – и мы, освободившись от верхней одежды, все-таки пошли в ванную, где, встав перед раковиной и открыв на полную кран горячей воды, девочка вдруг вновь разразилась плачем.

– Ну скажи… почему… они… почему он… так говорил!.. – пробивалось через густые всхлипы, – почему он… так… все время… говорит… одно и то же?!..

Я ничего не понимал.

– Кто он?.. что говорит?

– Ну этот… этот Стас… который дрался…

– А что он?.. – все еще не понимая ни черта, я переспросил машинально, желая лишь успокоить разговором, – что он такого сказал?..

И тут Гульнара повернулась ко мне неожиданно резко: теперь она не плакала, хотя пара запоздалых слез еще стекала по щекам на подбородок – сперва одна, за ней другая. Девочка смотрела на меня – глаза в глаза – так, как смотрят, наверное, перед прыжком в холодную воду:

– Скажи… ты тоже веришь… про это черное пятно… на попе?..

Я, прямо сознаюсь, оторопел. Немедленно возникло гнетущее чувство какой-то постыдной пустоты – той, что вызывается невыполненными обязательствами или же чьим-то решительным непониманием тобою сказанного. В самом деле, ведь я же помнил, как озадачился, впервые услыхав это странное слово, и как вместо того, чтоб разобраться, просто вывел его из зоны внимания, сдвинув в ту мусорную корзину, где сгрудились, дожидаясь своего часа, грязные и диковинные ругательства.

– Подумаешь… Стас, он такой… всегда говорит только гадости… мы и не слушаем его никогда толком…

Я хотел добавить что-то еще про Стаса – однако Гуля прервала мою речь и, уперевшись кулачком мне в плечо, чуть оттолкнула назад.

– Отойди немного пожалуйста…

Я подчинился, так и не успев ничего сообразить.

Теперь нас разделяло где-то шага полтора – или даже один, но присущий взрослому человеку. Теплая вода лилась себе из крана по-прежнему – не встречая на своем пути препятствия вплоть до самой решетки выпуска…

– Смотри, на…

С этими словами Гульнара резко повернулась ко мне спиной и столь же резким, как бы единым движением рук приспустила вниз свои зеленые шерстяные штанишки вместе со всем, что под ними было поддето, – белыми леггинсами, какими-то трусиками вишневого цвета… На расстоянии вытянутой руки от себя я увидал ее маленькие, чуть смуглые ягодицы, электрический свет тонул в замшевом золоте ее кожи…

…И вот как бы описать то мое ощущение, неожиданное и непонятное, одинокое в своем роде еще на много-много лет, – прежде чем, поднявшись из недр детской памяти, оно сольется с новейшими, подобными ему, образуя правильно выстроеный и логически обусловленный ряд?

В целом это относилось, конечно же, к разряду опытов узнавания – сродни тому, что предстояло испытать мне годы спустя, оказавшись волею случая совсем неподалеку от смерти. Узнавания сокрытой в себе предрешенности, заложенной кем-то неведомой программы, походя снимающей вопрос о том, хорошо ли или, напротив, плохо предстоящее. Словом, я вдруг ощутил какую-то неведомую, но отчетливую связь того, что ели мои глаза, с тем, что загодя покоилось в моем мозгу, – словно бы эта замшевая фактура была уже знакома подушечкам моих пальцев, а плавная кривая, огибавшая формы, соответствовала какой-то другой, служившей мерой и образцом. Несомненно, это была – власть, власть мягкая, но требовательная, и, помню, я тогда не без усилий вытянул себя из-под ее одуряющей неги.

10.

Потом все-таки зима наступила. Морозный ноябрьский финал к концу первой недели декабря сошел глубокой оттепелью, и лишь к середине месяца, после десятого, термометр вновь стал опускаться в синюю зону – при этом то и дело вспоминая старое и растапливая свежевыпавшую снежную крупу в привычную серую жижу.

Помнится, в одно из воскресений прошли какие-то выборы (накануне нас даже из школы отпустили досрочно), затем почти неделю было действительно холодно, но уже к следующим выходным вновь стало теплеть. Опять настало воскресенье, и я, отоспавшись и позавтракав,

по эфемерному утреннему снежку отправился к Гульнаре, намереваясь вытащить ее на прогулку. Мы заранее не сговаривались на время, но я считал, что с предложением такого рода волен прийти и без предупреждения – ведь не в гости же заявился!..

В общем, я шел по направлению к тринадцатому дому, наслаждаясь предсмертным чавканьем снежной крупы, исправно плавившейся под натиском моей обуви, – то есть шел, почти не подымая головы. Однако у самого подъезда или даже на подходе к нему я все-таки принужден был в полной мере голову поднять и оглядеться: несмотря на утренне-воскресное, неурочное время, здесь что-то происходило, какое-то движение, суета. Прямо перед парадным, заехав передними колесами на тротуар и почти закрывая собой вход, стояла машина «скорой помощи», одна из створок ее задних дверей была распахнута настежь, рядом, в ожидании чего-то, курили, переминаясь с ноги на ногу, два мужика средних лет: степенный коротко остриженный толстяк в обычной одежде (видимо, водитель) и облаченный в белый халат очкастый переросток-санитар.

Чуть поодаль от кареты скорой помощи был припаркован милицейский фургон. Еще одна милицейская машина – легковая «Волга» – стояла с противоположной стороны, через переулок, против хода движения. А еще чуть дальше – другая, тоже «Волга», но черная и с синей проблесковой мигалкой в окне над спинкой задних сидений. Завершала общую картину девушка какого-то неумело-мужиковатого вида, выпасавшая на припудренном снежком газоне старую, потрепанную, припадающую на задние лапы овчарку. Как я понял, и собака, и девушка тоже были милицейскими.

Мне стало любопытно. Протиснувшись мимо скучающих медиков, я нырнул в подъезд и бодро направился к лестнице, предвкушая, как стану делиться с Гульнарой этими свежими впечатлениями. Но не тут-то было: почти сразу же путь мне преградил отделившийся от стены мужчина – выставив передо мной руку с рацией наподобие шлагбаума, он как-то устало, но все же вполне отчетливо произнес короткое:

– Куда?

– А что? – я растерялся от неожиданности.

– Нельзя. Следственные действия.

Сказав это, он вернулся на прежнее место и тут же забыл о моем существовании, благо я не выказывал намеренья преодолеть наложенный запрет, оставшись стоять там, где стоял. Кажется, именно в этот момент я и заметил уходившие куда-то наверх подсохшие разводы чего-то бурого, недавно растекшегося по ступенькам. Не знаю, почему, но как-то сразу стало понятно, что это – кровь…

Тем временем в рации у остановившего меня мужчины что-то затрещало – требовательно и невнятно. Нахмурившись, он поднес ее к уху:

– Да. Готовы. Хорошо.

……

– Да, спускайтесь.

……

– Внизу. Нет, уехал. Только что.

Чуть погодя я услышал шаги – что-то, по всему, довольно громоздкое, медленно спускали по лестнице несколько человек. Продолжая стоять, я затем увидел, что это было: двое, передний, в халате, – наверняка, санитар, а задний – в расстегнутом милицейском пиджаке – осторожно и вместе с тем неловко тащили обычные узкие брезентовые носилки, на которых лежал кто-то, небрежно прикрытый простыней.

Не помню, в какой именно момент я понял, что на носилках – Гулин отец и что он – мертв. Когда увидел его голову, выбившуюся из-под простыни и как-то неестественно вздрагивавшую на каждой ступеньке? Или мгновением раньше, остановив взгляд на ботинках, болтавшихся из стороны в сторону так, словно бы в них не было ног? Разумеется, мне стало страшно,

но, вместе с тем, никуда не делось и любопытство, и еще какая-то вполне дурацкая мальчишеская гордость: дескать, вот ведь я – каков: увидел совсем рядом с собою нечто, абсолютно редкое и взрослое – настоящую всамделишнюю смерть!

Впрочем, я простоял там недолго – невзирая на жгучее желание выяснить, что же в действительности произошло. Еще сильнее оказался стыд: лишь на миг представив себе Гульнару и ее мать, я тут же понял, что необходимо избежать с ними встречи любой ценой – ибо даже близко не знал, что и как в подобных случаях принято говорить.

11.

Несколько дней я ходил в школу один, ни разу не встретив Гулю ни утром, ни после уроков на обратном пути. Видимо, она вообще оставалась все это время дома, несмотря на конец четверти. В следующие выходные, уже под самый Новый год, вновь похолодало – градусов до десяти без малого – в воскресенье я просидел дома весь день, валяя дурака: не было ни малейшего желания выходить на улицу.

Помню, часов в шесть вечера раздался звонок в дверь, на который я поначалу почти не обратил внимания. Мать пошла открывать, и вскоре из прихожей донесся ее голос:

– Сашка, это к тебе!..

Я бросился в прихожую, по пути чуть не сбив мать с ног, – она как раз уходила, решив, как видно, оставить меня наедине с незваным гостем.

Дверь была полуоткрыта, за ней стояла Гульнара, одетая в незнакомую мне до того светло-бежевую дубленку и замотанная плотным шерстяным платком. У нее вновь был кукольный вид – но теперь это была другая кукла, грубая и простая, вроде матрешки.

Разумеется, я предложил девочке войти, но Гуля в ответ лишь покачала головой. Тогда я сам, сдернув с вешалки и накинув на плечи пальтишко, выскочил на лестницу и, прикрыв за собой входную дверь, подпер ее спиной, словно бы опасаясь, что кто-то непрошеный появится за мною следом.

– Привет…

Сказать по правде – я даже толком не понимал, как начать разговор:

– Ты… в школу что… теперь не ходишь, что ли, совсем?.. так можно разве?..

Слова высыпáлись, как мне казалось, каким-то неуверенным, отрывочным блеяньем. Впрочем, Гульнара их, кажется, и не расслышала толком:

– Знаешь. Мы уезжаем сегодня. Совсем.

Наверное, я вздрогнул – или так, по крайней мере, показалось. Растерянность растекалась по мне нарастая, путая мысли и сковав язык.

– Уезжаете… а куда?

Гуля как-то странно пожала плечами.

– Ты сама не знаешь, что ли?

Она опустила глаза.

– Знаю. Но не скажу. Мне мама приказала не говорить никому. И тебе. Пока не приедем на самое место. Нас мамин брат отвезет.

Девочка мотнула головой из стороны в сторону.

– Честное слово!

Я кивнул нехотя, не найдя по-прежнему, что ответить, но спеша показать, что в полной мере понял услышанное.

– Мама сказала, что здесь нам нельзя теперь…

Я вновь кивнул, даже не пытаясь уточнить, почему это «нельзя теперь»: чужая неведомая жизнь скользнула передо мной лишь самым своим секретным краешком, слишком маленьким, чтобы что-то понять и рассудить.

Тем временем, Гуля подняла на меня взгляд:

– Мне уже надо идти сейчас. Да. Там внизу машина, мама ждет.

Кажется, она хотела добавить что-то еще – с каким-то беззвучным вопросом или, может, странным любопытством вглядываясь поочередно в каждый из моих глаз: сперва в правый, потом в левый…

– Хочешь от меня письмо? Я напишу тебе письмо оттуда, когда мы приедем. А потом я приеду сюда опять когда-нибудь, когда мы вырастем. Может быть, приеду, да.

Я лишь кивнул, пробурчав что-то невыразительное.

– Вот. Я напишу тебе обязательно. Очень скоро.

Она протянула вперед руки и, неожиданно взяв меня за оба запястья, слегка тряхнула их и тут же отпустила.

– До свиданья, Саша!

Когда я опомнился, она уже удалялась прочь. Я же остался стоять, где стоял, – и не уходил еще долго, гораздо дольше, чем надо бы, чтобы спуститься по лестнице и выйти из подъезда на улицу…

Потом был Новый год с присущими ему несбыточными упованиями, за ним – зимние каникулы, а дальше все вернулось в будничное, повседневное русло. Я выпросил у родителей ключ от почтового ящика и теперь каждое утро, собравшись в школу, проверял его, предвкушая письмо в непривычно-продолговатом иностранном конверте с чередующимися синими и красными ромбиками по всему периметру и большой красивой маркой в правом верхнем углу. Возможно, даже из Германии или другой какой незнакомой мне страны. Наверное, месяц или два ждал я этого письма – затем ворох новых забот и событий захлестнул воображение под завязку, вызволив из этого тягостного ожидания.

Короче, письма́ от девочки Гульнары я так и не получил ни тогда, ни позже.

Возможно, оно и к лучшему – не представляю, что бы я ей на это письмо ответил.

1.09.04 – 21.05.17

Урок английского

Давний апрельский школьный день – полунемое любительское кино, бесплотный след тарахтящего проектора на распятой наволочке…

В духоте шестого урока – одиноким бесформенным темно-синим айсбергом над четвертой партой у окна – чувствовать, как в текстильной броне пиджака потеют подмышки, – глубоко и печально вдохнуть, силясь поймать запах, и, поймав, заерзать на фанерной плоскости стула, немилосердной к ягодицам…

Немало уже изведано, право: если разом закрыть глаза – затем снова открыть широко – затем, пока никто вокруг не видит, зажмурить опять, с силой сомкнув веки, – тогда все поплывет наперекосяк, словно бы становится живым: белая дверь с приколотым двумя кнопками графиком дежурств (две другие давно выпали и выметены вместе с мусором прочь); окна, с осени заклеенные нарезанными вручную полосками пожелтевшей бумаги, из-под которых выбивается уже то тут, то там слежавшаяся почерневшая вата; четыре соседние парты – две спереди и две справа через проход; висящий на стенке рядом с портретом Диккенса красный пластмассовый горшок с чахоточным аспарагусом в железном кашпо, обильно посыпаемый мелом всякий раз, когда кто-то выходит к доске… Кроме того, еще можно легонько надавить на правое веко указательным пальцем – чуть-чуть, не больно – тогда быстро пойдут цветные круги во все стороны: сиреневые, красные, зеленые, оранжевые – как вывески на улице ночью…

…Противный скрип отодвигаемых стульев разом:

– Good afternoon, children…

Пауза, затем – хор нестройных голосов, заученно бурчащих в ответ:

– Good afternoon, Надежда Алексеевна…

– Sit down, please…

Вновь стульями елозят по линолеуму пола: садятся.

– Attention, children!.. Who is absent today? Авдеев?..

– Здесь…

– Аладушкина…

Цветник ангельских голосов, пробивающихся уже день ото дня во взрослый мир, – пробующих себя, срывающихся, уверенных… зачем-то поворачиваешь голову каждый раз, краем глаза успевая заметить похожего на бурундука шального воробушка, залетевшего с той стороны оконной рамы…

– Кушевский Слава…

– Здесь…

– Кушевская Полина…

…интересно, видит ли он нас через двойное стекло?..

– Опарина Марина…

…тогда зачем он сюда прилетел?.. наверное, тепло потому что…

– Павлов… здесь, вижу… Пархоменко…

…или, может, насекомые выползают какие-нибудь… из щелей, там, трещинок разных… муравьи, должно быть, или, там, пауки всякие… хотя рано еще, холодно все же…

…Мысль пульсирует в мозгу, с легкостью охватывая разноголосицу сущностей…

– Родионов… Семенюк… Шаришевский…

Инстинктивно вздрогнув, и с нотками убийственнейшего скепсиса, который и возможен-то лишь в шестнадцать лет от роду:

– Я… тут…

(…с неизбежным подъемом интонации на заключительном гласном…)

– Яковлев Евгений… здесь?.. хорошо…

Звучным, весомым хлопком закрыла журнал, кончиками пальцев взяв за край, кинула его на стол, словно котенка:

– Well… Let us check your homework now…

Зашелестели тетрадями то тут, то там, где-то образовался было родничок разговорчика, но тут же иссяк на третьем слове…

Медленно обвела класс взыскующим взглядом. Замерло.

– Ага, Макаров… давно вас не вызывала… come here, please…

Отпустило. Опять зародились где-то разговорчики, удрученный Макаров, опрокидывая портфель, подымается со своего места, надувая краснеющие щеки, деловито идет к доске, цепко зажав в руке тетрадь.

– Well… проверяем exercise 24…

Вполоборота к классу – юбка выше колен, плотная, на бедрах внатяжку. Красивые ноги.

– …ну, что же вы, Макаров… Как будет past participle от глагола lose?.. не помните?.. кто помнит?.. помогайте… ну?.. Микаэлян?.. хорошо… пишите, Макаров: «He has ***lost*** his key»…

Совсем уже сникший Макаров нехотя скребет мелом доску: «he… has… los-t…»

…Кивнула головой, обернулась к классу. Бежевый, в крупную вязку, свитер обтягивает грудь – вязаные ячейки расширяются, становятся прозрачнее: но отсюда не видно… кажется, это называется машинная вязка… натуральная шерсть или синтетика… если синтетика, то заряжается электростатическим электричеством… хрустящие невидимые искры, когда снимает… проскакивают от свитера к рубашке, трещат… потом снимает рубашку, расстегивает мелкие пуговки – там много мелких пуговок таких, да – потом остается лифчик один… тоже бежевый или белый с кружевами, как в кино показывали, – чтобы расстегнуть, она должна вывернуть руки в локтях назад… локти становятся острыми, с ложбинками… было бы даже видно под мышками волосы, если б не выбривала… женщины всегда выбривают волосы под мышками, я знаю – прошлым летом, когда в Лазаревском были, на пляже специально ходил смотреть: одна только была неподбритая, толстая такая, черная баба с золотыми зубами, кукурузу ела постоянно, все вокруг себя загадила…

– …садитесь, Макаров… теперь посмотрим, как вы сделали exercise 21… who is the

volunteer?.. nobody?.. тогда Ситников Николай…

…конечно же, когда лифчик снимает, груди опускаются… если не опускаются, то это эрекция… хотя, нет, эрекция – это когда они встают сами от возбуждения, а так – просто телосложение, но в старости, конечно же, у всех отвислыми становятся все равно…

– …ага… ага… хорошо, Николай… только не drawed, а как будет?.. drawn, правильно…

…а интересно, если б она пришла на урок прямо так… без лифчика и без всего… если б это по программе было положено… один раз хотя бы… сексуальное воспитание учащихся старших классов…

– Так… совершенно верно: «I’ve already posted the letter»… что почему?.. почему «the»

непонятно?.. как почему?.. потому, что определенный артикль… так, внимание, в каких случаях мы употребляем определенный артикль?.. а?.. кто помнит правило?.. совершенно верно, когда говорится о каком-то конкретном письме, о котором нам уже что-то известно… а здесь нам известно или нет?.. как нет? конечно, известно… правильно, из вопроса уже известно… теперь поняли, наконец?.. всем понятно или нет?.. Николай, тебе понятно?.. отлично, тогда двинемся дальше…

…а еще в седьмом классе на рисовании… когда задавали рисовать человечков… Витька рассказывал, у его братана в Академии Художеств на занятиях специально голая натурщица

сидит, и все ее рисуют… ей за это деньги платят… Витька говорит, братан обещал даже его с собой взять как-нибудь тоже… хотя врет, наверное, как всегда… а, может, и не врет…

– Well… now open your dictionaries… откройте ваши словарные тетради, запишем новые слова…

Снова повернулась к доске; взгляд скользит, лаская, вверх – от узкой, филигранной щиколотки, вверх – словно бы охватывая голень, вверх – вверх, замедляясь на бедрах и наконец растекаясь бархатным несмелым объятьем на затянутой в черную юбку, вопрошающей, спелой попке, – ватными дрожащими губами целовал бы и целовал…

…тогда, в седьмом классе, если бы и нам позировал кто-нибудь… с ума бы сошли… тоже по программе, скажем, было бы положено… да… но англичанка не стала бы – не ее предмет… но и не Палитра, конечно же, боже упаси – ее бы все нарисовали как мешок с цементом, это точно (представилось на миг рыхлое, бледное, в синих венозных прожилках тело старой учительницы рисования, носившей на носу большую черную пупырчатую бородавку, представилось, и, в отвращении, тут же стерлось напрочь услужливым воображением) … скорее – из наших девчонок кого-нибудь бы попросили… они в седьмом классе уже были вполне себе… у Светки Голубевой, к примеру, грудь уже тогда что надо – хотя бы и ее, скажем… помню, раньше еще или тогда как раз на физкультуре как-то смотрел, смотрел она стояла у шведской стенки просто так стояла а я смотрел не думая на грудь даже лицо не замечал как будто взглядом ниже просто уперся такое оцепенение просто и все а она сперва не замечала наверное тоже куда-то смотрела я не знаю потом конечно заметила и покраснела но продолжала стоять не уходила потом я уже заметил стало неловко надо что-то сказать но не знал стал придумывать а она ушла раньше. Даже еще думал разговаривать со мной теперь не будет специально подошел на следующей перемене думал проверить думал спрошу что-нибудь как ответит будет ясно обиделась нет стал спрашивать рассмеялась как будто не было ничего…

– Шаришевский, what do you think about?.. о чем вы задумались?..

…тревога, тревога, утопить в сознании только что лелеянное, два быстрых, молнией, взгляда по сторонам – вправо и вправо-вперед, затем уже поднять на учителя полные достоинства раскрытые широко глаза – вроде бы спокойные и внимательные в полной мере:

– Я?.. нет, ни о чем… я ни о чем не задумался, Надежда Алексеевна… я слушаю вас внимательно…

– Какое действие мы обозначаем с использованием present continuous?..

– Действие… действие, которое… которое продолжается…

Кивнула нехотя:

– Совершенно верно… действие, которое не закончено к моменту высказывания и будет продолжаться в дальнейшем… теперь посмотрим, как образова…

Отлегло. Теперь вернуться к прежним мечтам – сладостным, низким, туманным – дидактику сиюминутного бытия мимо сознания пропуская безоглядно-самонадеянно…

…с десяти лет нет с одиннадцати Серега говорил менструации начинаются в четырнадцать но еще раньше можно и потом как им приятно всегда или когда сами хотят только если силой то неприятно или приятно в кино Джек Николсон но там взрослая сам читал в тринадцать родила значит в двенадцать шестой класс у нас еще нет хотя медосмотр отдельно еще раньше до этого оставались одни трусики у маленьких никакой разницы когда начинают уже расти в отдельный освобождают класс еще когда карантин был гепатит всем уколы отдельно тоже…

– …I haven't seen it yet… I haven't seen…

…а сейчас уже большие совсем взрослые в принципе может кто уже даже но навряд ли хотя не узнать конечно же только про Опарину известно точно она с Ярыгиным из прошлогоднего выпуска ну все знают что у них было и она знает что все говорят и ничего и может сейчас еще но неизвестно хотя ее подругам известно я думаю и говорили они там трахались вовсю

а Ярыгин со всеми бандитами в округе знаком таких девчонки любят почему-то не только Опарина все такие им нравится даже кто хорошо учится все равно а другие нет почему?..

– …now open your textbook at page…

…а еще Дениска когда курить ходили в туалете говорил про Людку Пархоменко что он ей будто бы целку порвал месяц назад врет конечно тоже хотя похоже на него в общем-то говорит пришел алгебру делать вместе к ней домой упражнения а там родителей не было в командировке уехали они музыканты ключ от бара забыли спрятать она угостила его что не помню немного отлили из бутылки потом долили водой обратно чтоб не узнали когда вернутся почти тот же цвет красный чуть светлее интересно что может коньяк нет коричневый значит вино хванчкара или нет…

– …читаем теперь exercise 13 (3), первый диалог…

…потом на диване сидели целовались потом…

– …кто хочет?..

…а алгебру так и не сделали само собой…

– …Васильев, читайте, пожалуйста… silence, please!..

…а как целка будет по-медицински длинное слово такое как бы церковное не помню…

– …stop talking, children!.. Васильев, продолжайте, пожалуйста, мы все Вас слушаем…

…Дениска вообще сексуально-озабоченный больше всех в классе говорит только об этом всегда даже если другая тема все равно переведет через некоторое время он бриться начал первым еще год назад никто не брился а он уже а теперь конечно уже человек пять не меньше а тогда никого это как-то связано я слышал не помню где слышал потому что половое созревание хотя есть у кого борода не растет вообще никогда не растет до самой старости не растет ну и что же у них дети и все как надо…

– …спасибо, Васильев, достаточно…

…еще осенью он журнал приносил в класс там мужик такой смуглый с гладкими волосами зачесанными назад и девчонка белобрысая лет восемнадцать на вид в одних туфлях на высокой платформе он ей в задницу вставил а она оборачивается будто бы хочет сказать что-то а сама глазки закатывает интересно ей больно или приятно или одновременно так бывает не знаю интересно это на самом деле или для съемок только вот бы узнать!..

– Well, children, write down your homework… exercise…

Разом скрипнули перья, старательно засопел Антонов во втором ряду; склонив голову набок, едва не касаясь тетради щекой, принялась записывать номера упражнений Лена Аладушкина в то время, как за соседней партой Ромка Авдеев лишь отчеркнул размашисто что-то в учебнике и, с силой его захлопнув, швырнул в сумку…

– Все записали?.. Кушевский и Павлов, не забудьте, что на следующем уроке ваша очередь делать доклады…

…Лязгнуло замочками сумок ей в ответ – через мгновение забормотало все, словно бы где-то открыли воду, и вот, наконец, долгожданный звонок*: свобода, Господи, вот же ты, у порога – сумку в охапку и на улицу: домой, домой, прочь…*

Что еще надо сказать? Теперь сквозь годы, измельченные в серую пыль, оседающую на зубах подобно заводской копоти в ветреный день, сопоставив те вельветовые мечты с наждачно-отрезвляющей реальностью, едва ли станет духу разразиться иронией – в шестнадцать лет человек прав уже самим фактом собственного бытия, своим легким, не замутненным даже никотином первых сигарет дыханием, своей особой поступью, когда чувствуешь, как на каждый твой шаг пружинит под ногой земля, побуждая к шагу следующему…

Авдеев, Павлов, Ливенкова – добрая половина вас так и осталась смеющейся фотокарточкой с выпускного вечера – на фоне белокирпичной стены спортзала (краешек завешенного сеткой окна в кадре, даже как будто угадывается баскетбольное кольцо, нет?) – впрочем, о ком-

то нам удалось узнать, пробуя изначально едва ли не наугад всегдашнюю паутину незримых нитей человеческого общения – кто-то с кем-то дружит по сю пору, кто-то кого-то видел случайно… Впрочем, главное, наверно, то, что все мы сегодня живы, все, за исключением Петьки Маракуца, подорвавшегося на мине в Панджшерском ущелье еще в восемьдесят восьмом – но он и в школе имел репутацию отчаянного…

Ашот Микаэлян торгует недвижимостью, располнел, говорит с одышкой и при этом улыбается улыбкой мальчика, взявшего без спросу из шкафа сладости; Женька Яковлев окончил университет и уже второй год изучает птиц где-то в Бразилии – говорят, делает большие успехи; тихоня Макаров недавно женился в четвертый раз, нянчит очередного младенца – по всей видимости, любит это дело и знает в нем толк…

Светку Голубеву я неожиданно встретил прошлым летом в авиакассах на Каменноостровском – покупала билеты в Адлер для себя и дочери (Аня, восемь лет, непоседа ужасная). Выкурили по сигаретке, потом прошлись пешком до Горьковской. Работает главным бухгалтером в трех небольших конторах разом, второй муж – столь же нелюбимый, как и предыдущий, – ни черта не зарабатывает, но хоть не пьет, и то славно… Всю прошлую осень провела в больнице – что-то с печенью…

Впрочем, и мне похвастать было особо нечем…

30.04.99 – 30.05.99

Новогоднее

Ускакали
деревянные лошадки,
Пароходики
бумажные уплыли.
Мы,
из детства
убегая без оглядки,
Все, что надо и не надо, позабыли.

Э. Шим

1.

В суете предпраздничных забот последний день года проскочил почти незаметно – из зимней утренней темноты прямиком в темноту вечернюю, словно бы лишь на миг, неведомой формальности ради, заглянув в окна молочно-серым оком своих светлых часов. С полудня Настя сломя голову носилась по квартире то с утюгом, то с ножницами, чуть не сожгла в духовке *наполеон*, впервые в жизни изготовленный без помощи мамы, умудрилась на ходу посадить большущую занозу и на ходу же извлечь ее из мизинца на левой руке, заменить некстати перегоревшую лампочку в ванной, а кроме того – раз четырнадцать поговорить по телефону с одноклассницами Соней и Катей и раз шесть – с серьезным молодым человеком по имени Артем, студентом первого курса.

И лишь почти закончив все эти приготовления, – уже где-то в начале седьмого – Настя, кажется, впервые в этот день заинтересовавшись временем, сподобилась поднять глаза на бабушкины стенные ходики со сломанной кукушкой и гирьками в форме еловых шишек, те самые, что, повинуясь еженедельному заводу, наполняли гостиную всегдашним своим равнодушно-добрым двухчастным тиканьем.

Собственно, взглянула на них Настя почти случайно, и, взглянув, едва ли увидела что-то замечательное: времени, как она знала, было еще – вагон. Две черные стрелки – часовая и минутная – стояли почти вертикально, гостеприимно распахнув сажень своих объятий. До праздничного мига, когда под привычный глуховатый хлопок шампанской пробки эти же стрелки сольются в одну толстую, оставалось целых шесть часов – столько же почти, сколько прошло от Настиного пробуждения.

Впрочем, именно в этот год все складывалось не вполне привычным образом, отлично от заведенного в Настиной семье порядка, – как раз данную полночь ходикам предстояло пережить в тишине и одиночестве: впервые Настя встречала Новый год вне дома, соблазненная веселой полустуденческой компанией. Что же до родителей – то и они, примирившись с дочкиной затеей и не желая праздновать сам-друг, напросились к Мосякиным, по обыкновению, встречавшим Новый год на даче, куда и отправились еще в половину третьего, стараясь подгадать к рекомендованной этими же Мосякиными электричке.

Таким образом, Настя неожиданно осталась совсем одна – одна, по меньшей мере, часов на шесть с половиной – семь, ибо выходить из дому прежде девяти – девяти с четвертью не собиралась: ехать было недалеко, а досрочно прибывшие гости рисковали оказаться привлеченными к изготовлению салатов и раскладыванию буженины по керамическим розеткам. Дорожившую своим новым платьем лукавую Настю подобная перспектива совсем не радовала, а кроме того – ужасно хотелось заставить Артема немного послоняться из угла в угол с унылым выражением лица, пусть поскучает, томясь в досадном ожидании. Самой Насте до сих пор ни разу не приходилось оказываться в похожей ситуации, но, кажется, она видела что-то такое где-

то – в каком-то фильме или спектакле, – и потому вполне искренне считала подобное поведение признаком искушенности и взрослости, а кроме того – залогом неостывающей пылкости чувств или, как она обыкновенно говорила, – *отношений*.

Впрочем, сейчас Насте было не до скрупулезных рассуждений об обоюдоострой природе ожидания – взятый ею с утра темп, казалось, не позволял довести до конца ни одну маломальски сложную мысль: едва только она останавливалась, задумавшись на мгновение с ножницами либо с дуршлагом в руке, как тут же вспоминалось, конечно же, какое-нибудь досадное упущение – что-нибудь забытое или недоделанное, неминуемо грозившее свести все насмарку. Отбросив ножницы, Настя кидалась на кухню или в ванную, что-то лихорадочно там застирывала или отмывала – и, разумеется, тут же забывала все, о чем размышляла полуминутой ранее.

Когда же, наконец, забытое и недоделанное исчерпалось полностью, Настю обступило то странное чувство, что всегда почти сопровождает окончание сколько-нибудь трудоемкого дела, – чувство сродни легкой обескураженности, что ли, – которое, однако, есть всего лишь небольшая усталость и рассеивается бесследно само собой уже после пяти минут отдыха…

…В восемнадцать минут седьмого – со всегдашним трехминутным опозданием – ходики прыснули в тишину гостиной свой обыкновенный четвертьчасовой полулязг-полушелест, ворчливый и короткий. Настя вновь подняла на них глаза, еле заметно нахмурила лоб, затем перевела взгляд на свое новогоднее платье, ни разу еще до того не надеванное, выглаженное и расправленное на спинке кресла, – оно как будто бы самой тканью своей излучало негромкое предвкушение радости – и в этом своем радостном покое показалось Насте словно бы живым существом, привлекательным и солидным. Привычным обитателем манящего мира взрослых, куда Насте так не терпелось поскорее попасть…

«Надо же, еще так мало времени – а все сделала!.. – подумала она невзначай. – Чем бы еще заняться?».

Скинув шлепанцы, она взгромоздилась на диван, смахнула к себе на колени телефонный аппарат с журнального столика и, зажав трубку между щекой и плечом, набрала по памяти номер. Несколько секунд в трубке молчало, затем что-то перещелкнуло железным и еще секунду спустя разлилось раздольем коротких гудков. Одноклассница Соня, как видно, болтала в это время с кем-то другим. «Вот же гадючка!..» – произнесла Настя одними губами и принялась набирать другой номер, тоже по памяти.

На сей раз ей вроде бы повезло: второй по счету длинный гудок прервался вдруг на половине своей протяженности, затем что-то стукнуло, как будто бы неловко схвативший на том конце трубку человек выронил ее, но тут же подхватил вновь. И лишь затем немолодой и строгий женский голос продекламировал заученной фразой, словно бы наперед уже зная все то, что Настя только еще собиралась сказать:

«Алло… Да… Я вас слушаю… Кого вам?»

«Здравствуйте… я… я… – Настя смутилась, – мне Артема, пожалуйста…»

«Таких здесь нет. Набирайте правильно номер.»

Короткие гудки вернулись спасительным вальсом – Настя принялась было вновь нажимать телефонные кнопки, но вдруг передумала, поставила аппарат на место и, подперев подбородок ладошкой, слегка нахмурилась. Ей вдруг показалось, что она теперь вообще никогда ни до кого не дозвонится, сколько б ни пыталась это сделать. В этом году, во всяком случае.

Какое-то чудное, непрошеное и неожиданное ощущение опять вдруг всплыло на поверхность Настиного предпраздничного настроения, – зажмурившись, она мотнула головой из стороны в сторону, затем нашарила ногами шлепанцы, встала, сделав по полу два или три скользящих шага, пересекла комнату и очутилась миг спустя за старым, *дедушкиным*, письменным столом, сиротливо придвинутым к противоположной от окна стене. Когда-то давно этот стол

действительно принадлежал дедушке и на нем обыкновенно лежали в беспорядке какие-то его важные и непонятные бумаги, сплошь покрытые расплывчатыми фиолетовыми таблицами, очки с толстой коричневой оправой, карандаши, исписанные по меньшей мере на две трети своей исходной длины, всегдашний чайный стакан в подстаканнике с двумя глотками недопитого чаю на дне и еще – странная железная штука с циферками и изогнутой ручкой под названием «Феликс». Потом, когда дедушка умер, стол придвинули к стенке и накрыли полосатой скатёркой с кружевным кантиком. Потом на этой скатёрке появилась пластиковая рамка с Настиной школьной фотографией во весь рост, а также высокая керамическая вазочка, в которую, однако, никогда не ставили цветов. Третьим предметом на дедушкином столе был плюшевый мишка, подаренный Насте уже на исходе младенчества – лет в пять или шесть. Обычно Настя держала его в своей комнате – на второй полке стеллажа или, в чреватые непрошеными слезами моменты особого душевного волнения, – у себя в постели, рядом с подушкой. В вихре утренней суеты он, не пойми каким образом, оказался вдруг в руках: повертев его тогда на бегу, Настя зачем-то взяла мишку с собой в гостиную где, впрочем, тут же от него избавилась, едва зацепив глазом первую же сколько-нибудь свободную от вещей горизонтальную плоскость.

Сейчас мишка сидел, словно бы собираясь кого-то обнять или поприветствовать, – прислонившись спиной к обоям и расставив лапы, – две перламутровые с зеленым отливом бусинки глядели на Настю не мигая. «Мишка, мишка… родной братец мишка… что ты хочешь мне сказать?.. – проскочило у девочки мимолетом, – как ты поживаешь теперь?..» Мишка не отвечал, и девочка перевела взгляд на стоящую рядом фотографию. Та Настенька тоже глядела на нее не мигая – чуть подсмеиваясь, в школьной форме, еще с косичками – третий класс, кажется. Поймав этот взгляд, Настя-настоящая зачем-то попыталась вспомнить себя тогда, но не смогла даже определить, в какой именно момент ее сфотографировали в этих смешных желто-зеленых гольфах.

Что-то было в этом… странное тоже… словно бы та, маленькая Настя, глядя в объектив фотокамеры, должна была как-то чувствовать, что ли, откуда-то знать, что смотрит на себя саму в будущем, – словно бы это самое будущее уже тогда можно было при желании разглядеть в отражении на темном выпуклом стекле объектива.

Сложив на столе руки, девочка опустила на них голову и задумалась – мысли ее сперва бродили невнятными параболами в бархатном космосе парадоксов, затем, запутавшись окончательно, и вовсе отчалили в мир непроговариваемых мечтаний – туда, где всегда тепло и уютно, как под ватным стеганым одеялом.

Не прошло и двух минут, как приятная тяжесть сна опустилась на длинные Настины ресницы – мелькнула прощальная мысль о чересчур протяженном вечере, в преддверье которого вполне позволительно и вздремнуть, затем конец этой мысли словно бы рассыпался сонмом светящихся, разноцветных, похожих на салют звездочек, затем все поплыло куда-то, словно погруженное в глицерин, и вот уже Настя напрочь выскользнула из яви реальности в войлочную нирвану сна.

2.

Показалось, что спала она совсем недолго – минуту или две, вряд ли больше. Вывело девочку из забытья, по всей видимости, неудобство позы – дремать, сидя за столом, опершись щекой на вытянутую вперед правую руку и согнув левую в локте, Насте еще только предстоит потом научиться, – в университете, в тяжелую зимнюю сессию второго курса. Сейчас же какие-то затекшие мышцы, должно быть, дали о себе знать – девочка разом раскрыла глаза, долю секунды привыкала к неожиданно низкому ракурсу зрения, после чего подняла голову.

Все было вокруг по-прежнему, лишь мерное тиканье ходиков разбавляло тишину пустой комнаты. Да еще недовыветрившиеся остатки кулинарных запахов – волнующие и сладкие – приходили с кухни и шалили в Настином носу.

И все-таки что-то было не так, как обычно, что-то изменилось в комнате, изменилось неброско, но отчетливо.

Настя еще раз обвела взглядом гостиную – диван, оба кресла, журнальный столик с синим торшером рядом – затем опять взглянула на собственную фотографию и, не найдя в ней на этот раз ничего примечательного, скосилась на мишку. Тот, как видно, за время Настиного сна переменил позу – теперь он не сидел, а стоял, по-прежнему, однако, прислонившись к стенке спиной. Зеленые бусинки его глаз все так же глядели на девочку умно и пристально.

Впору было удивиться, конечно же, и Настя, разумеется, удивилась – но удивилась не сильно, одним лишь секундным поднятием бровей да легкой, почти что детской улыбкой. Так удивляются невинным шалостям или смешным непонятным словам.

«Мишка, дорогой мой мишка, – произнесла она опять одними губами, – куда ты собрался сейчас?»

В ответ мишка молча шагнул вперед, переступил с правой лапы на левую, затем обратно, затем вытянул передние и потер их медленно друг о дружку.

«Пыль… – слегка качнул он плюшевой головой, – в этой комнате много пыли… опять… просто не знаю, как тут и быть, ей-богу!..»

Он кашлянул в кулачок, затем слегка развел лапы в стороны:

«Не знаю, не знаю… пыль набивается, портит мех… очень трудно потом отчистить… всякий уважающий себя медведь обязан тщательно следить за своим мехом!..»

Голос его звучал немножко сердито – но все же без прямого, адресованного Насте упрека. Однако девочка попыталась оправдаться – она вновь улыбнулась той же самой, детски обезоруживающей улыбкой и почти что шепотом произнесла, чуть склонив голову набок:

«Прости меня, мишка… Но мне кажется, что нет здесь никакой пыли… и в помине нет… ведь я же пылесосила утром!..»

Несогласный мишка тут же замотал головой из стороны в сторону:

«Ну как же, ну как же!… Очень, очень много пыли, да… Гораздо больше, чем, к примеру, в детской или – тем более – в лесной чаще, где царят прохлада и свежесть…»

Настины брови вновь взметнулись удивленными горбиками – *детской* ее комнатку не называли уже очень давно, лет, наверное, восемь или девять. Говоря по правде, она и сама почти забыла это название – вернее, думала, что забыла.

«Но ведь, мишка… ведь в детской-то я как раз и *не* пылесосила!.. как же здесь может быть пыльнее, чем там?..»

В ответ плюшевый зверь усмехнулся – или Насте так показалось – грустной усмешкой своих зеленых бусинок.

«Ты просто маленькая еще… и мало что понимаешь… Маленькая глупая девочка, которая ни разу не была в настоящем лесу… где царят прохлада и свежесть!..»

Сказав это, мишка поднял голову и посмотрел вверх – словно бы там, на потолке, было видно небо – густо-синее, каким оно всегда кажется сквозь расступившуюся лесную листву.

«Когда ты подрастешь немножко, я обязательно возьму тебя с собой в лес… я покажу тебе лес, и ты увидишь тогда, что я прав…»

Насте стало понятно, что мишку ей теперь не переубедить никак, и она лишь нехотя пожала плечами:

«Ну, если ты так считаешь в самом деле… – девочка на секунду задумалась, – тогда… тогда давай просто пойдем и посмотрим!.. – ей вдруг стало весело от этой идеи, – пойдем и проверим, где больше пыли… здесь или там…»

«Конечно, конечно, – мишка радостно закивал головой, – именно это я и хотел тебе предложить как раз… странно даже, что ты не додумалась до этого самостоятельно! Пойдем! Пойдем же прямо сейчас, зачем откладывать!..»

Он пересек стол, соскочил на колени к Насте и взял ее за руку.

«Пойдем!»

Прикосновение бархатистой ладошки словно бы напомнило ей что-то, что-то приятное, знакомое и в то же время давным-давно забытое накрепко. Она поднялась со стула и, дав возможность мишке спрыгнуть на пол, послушно двинулась за ним следом.

Дверь в Настину комнату, почти всегда распахнутая в отсутствие хозяйки настежь, сейчас почему-то была закрыта. Внутри, однако, горел свет – видно было, как он пробивается слева у косяка и снизу над линолеумом пола двумя узкими бело-голубыми полосочками. Должно быть, настольная лампа светила в комнате в четверть накала.

Настя, с малых лет приученная выключать, покидая помещение, электричество, сразу же подумала, что там, за дверью, явно кто-то находится, – однако странная эта мысль не только не напугала девочку, но даже и не особенно ее удивила. Настя лишь замешкалась на мгновение, задумавшись о том, кто бы мог это быть, однако нетерпеливый мишка тут же ее и поторопил:

«Ну, что же ты медлишь, а?.. Открывай давай!.. Видишь же – мне не достать никак до дверной ручки…»

Он даже попытался просунуть лапу в щель между дверью и косяком.

«Открывай, открывай быстрее… здесь так неуютно стоять, в этом темном коридоре… сквозняк… а еще, того и гляди, откуда-нибудь появится моль, попортит мех!..»

Было немножко смешно от этой ворчливой настойчивости, – впрочем, мишка всегда был таким, да, Настя помнила это и потому ничуть на него не обиделась. Она лишь взглянула на него сверху, вновь на секунду приподняла чуть удивленные брови и, нащупав одновременно с этим дверную ручку, потянула ее на себя.

3.

Оранжевый короткогривый лев, целлулоидная кукла Анита, привезенная дядей Николаем из-за границы, и сине-фиолетовый тряпочный заяц Чу чинно сидели вокруг праздничного стола. Точнее говоря – сидели они на самом столе, полукругом, тогда как праздничные угощения и столовые приборы: пластмассовый торт на пластмассовом же блюде, другое пластмассовое блюдо с игрушечным виноградом и яблоками, крошечные алюминиевые ножички и ложки, маленькие чашечки и маленькие разноцветные свечи в голубых подсвечничках – все это стояло тут же, рядом с ними, на той самой исцарапанной за годы темно-вишневой поверхности, что в иное время всегда почти бывала завалена Настиными учебниками и тетрадками. Игрушки собирались встречать Новый год, и плюшевый мишка, проскочив в дверь вперед Насти, тут же поспешил к ним присоединиться – он пересек комнату наискосок, с разбегу вспрыгнул на стул и, ухватившись лапами за край не до конца задвинутого ящика, уже в следующий миг оказался рядом с настольной лампой, светившей, как и предположила прежде Настя, на четверть своей мощности – в так называемом режиме ночника. Усевшись на край зеленой пластмассовой ступеньки, служившей лампе основанием, он сложил передние лапы на груди крестом. Теперь игрушки смотрели на Настю в восемь немигающих глаз и молчали.

Прервал молчание лев. Поднявшись, он выступил мягкими шажками вперед, к краю стола, после чего, наклонив голову набок, пристально взглянул на девочку. Затем обернулся к медведю и, слегка кивнув каким-то внутренним своим мыслям, произнес не спеша:

«Хорошо, что ты пришла… да…»

Он обмахнул себя хвостом с выщипанной наполовину кисточкой и вновь повернулся к Насте:

«…это очень хорошо, когда все встречают праздник вместе… только так и должны поступать друзья… настоящие друзья, которые – не разлей вода…»

Настя невольно кивнула в ответ. Она принялась подбирать слова, подходящие, на ее взгляд, для разговора с куклами, – подбирать торопливо и путано, опасаясь сказать что-либо невпопад или стать виною длинной неловкой паузы.

Заяц, однако, тут же опередил ее, подняв голову и вытянув вперед обе передние лапки:

«…что же ты стоишь так потерянно?.. присаживайся…»

Сверкнули бусинки его глаз, вернее – одна только бусинка, левая. Правой же не было вовсе – на ее месте сиротливо болтались обрывки двух коротеньких растрепанных ниточек. Что-то неясное, какой-то отблеск недопробудившегося воспоминания скользнул благодаря им в Настином удивленном мозгу – но тут же угас невзначай…

«…присаживайся к столу, Настя… будем встречать Новый год… самый лучший наш праздник…»

Голос у зайца был детский, как у пятилетнего мальчика. Детский и, пожалуй, даже смешной немножко – Настя против воли улыбнулась, однако послушно взяла стул и, выдвинув его к столу, села.

«Ну, вот… хорошо… все собрались, вроде бы… нет только папы и мамы, и еще нет… —

…елки! – вторглась Анита писклявым своим голосочком, – Елки, красивой елки с шарами и звездочками… какой же Новый год без елки?!»

«Конечно, – лев тряхнул своей короткой гривой, – конечно, Новый год без елки – не Новый год… это знают все… да… это даже маленькой Настеньке теперь известно!..»

Он вновь задумался, словно бы не зная, как поступить дальше.

Выручил его на этот раз мишка: поднявшись со своего места, он шагнул вперед и, взяв тихонько льва за лапу, произнес умиротворенно, но громко:

«Елка у нас есть… она стоит там, в гостиной… высокая и нарядная… пахнущая морозцем и настоящим лесом… когда вернутся родители и сядут с нами за стол… они, я так думаю, тотчас же переставят ее сюда, к нам…»

«Конечно, конечно… – принялись поддакивать игрушки нестройным хором, – ведь елка должна стоять здесь, в детской… она всегда стояла в детской… каждый год ее ставят в детской… иначе девочка станет плакать!»

Какой-то комок подступил у Насти к горлу. Она было хотела возразить тут же – рассеять напрасные упования наивных игрушек, – но так и не нашла в себе должной смелости. «Пусть уж и в самом деле так думают… если им хочется…»

Она стала думать о чем-то еще – но мишка тут же отвлек ее, протянув игрушечную чашечку, голубую в белый горошек.

«Выпей с нами чаю пока… надо проводить старый год…»

«Чтобы скорее пришел новый!.. – вставила писклявая Анита, – …чтобы скорее пришел Новый год… и в нем сбылись наши желания… все до одного!..»

В чашечке было пусто, Настя поднесла ее к губам и, сложив их трубочкой, сделала вид, что пьет.

«Как сладко!.. Какой вкусный получился чай! – наперебой загалдели куклы, – заяц Чу настоящий мастер варить чай, – он и Настеньку научит потом… когда девочка подрастет…»

«А ты знаешь, Настенька, что, провожая старый год, обычно загадывают желания… желания, которые должны сбыться обязательно… – лев привычно склонил голову набок и, обмахнувшись своим наполовину выщипанным хвостом, продолжил, – …в новом году ты станешь еще на год взрослее… научишься многим хорошим вещам… и даже станешь есть кашу так, чтобы не измазывать всякий раз Аниту с головы до ног…»

«Да, да! – подхватила Анита немедленно, – будешь есть кашу сама… и не будешь кормить ей меня… ведь я не очень люблю холодную кашу…»

«А я – так пожелаю тебе в наступающем году попасть в настоящий лес! – вставил тут же свое слово плюшевый мишка, – ведь лес – это самое лучшее место на свете… там столько интересного и необычного!..»

Он даже на миг закрыл глазки, словно бы представив себе лесную чащу.

«И еще – в лесу ведь совсем не страшно! Совсем—совсем не страшно! Особенно – если с тобой будем мы, я и лев: ведь мы никогда не дадим тебя в обиду!»

«А меня, а меня вы возьмете с собой в лес? – торопливо заворчал заяц Чу, – я тоже страсть как хочу в лес!.. я так давно ведь не был в настоящем лесу!»

«И меня, и меня возьмите! – торопливо присоединилась Анита, – ведь и я тоже никогда не была в лесу!»

Игрушки заговорили все разом – каждая, должно быть, о своем новогоднем желании. Голоса их переплетались и путались – Настя отчаялась уже разобрать что-либо в этом гомоне, как вдруг, повинуясь поднятой вверх лапе зайца Чу, всё неожиданно смолкло. Убедившись, что общее внимание сосредоточилось теперь на нем, он опустил свою тряпичную лапку, шагнул вперед и, оказавшись как бы в центре круга, произнес с торжественными нотками в голосе:

«Послушай же теперь, Настя, наше самое главное пожелание!..»

Он взял паузу, словно бы заправский оратор, после чего обвел всех медленным серьезным взглядом и продолжил:

«В наступающем году ты, Настенька, станешь совсем большой и даже пойдешь в школу! У тебя будут настоящие учебники и тетрадки, тебе купят цветные фломастеры и красивый рюкзачок, чтобы все это в него складывать, – ты пойдешь в школу, где тебя встретит учительница. Она расскажет тебе много интересного, научит тебя считать до тысячи и даже больше, а также писать совсем любые слова письменными буквами…»

Заяц перевел дух, затем продолжил:

«… и еще там будет много-много других детишек… девочек и мальчиков… ты наверняка подружишься с ними… вы вместе станете учиться – и все вместе окончите школу через много-много лет… это будут настоящие твои друзья, друзья не разлей вода, друзья на всю жизнь… такие же верные и чуткие, как мы, твои любимые игрушки… и беречь их надо будет так же, как ты бережешь нас…»

Он вновь задумался о чем-то ненадолго, но вскоре словно бы очнулся от этих мыслей, повернулся к остальным игрушкам лицом и, подняв вверх обе лапы, провозгласил – сколько мог – торжественно:

«Давайте же…»

Все замерли, задержав на миг дыхание.

«Давайте же теперь споём все вместе, хором… споём какую-нибудь хорошую добрую песенку… чтобы Настенька всегда о нас помнила… и всегда нами располагала… И как бы трудно ей порой ни случалось в школе, мы ведь всегда готовы прийти на помощь…»

Он замолчал, словно бы от избытка нахлынувших чувств, но тут уже мишка по его зову бодро затянул своим хрипловатым голоском:

«Белые, белые в декабре, в декабре,
Ёлочки, ёлочки во дворе, во дворе…»

И миг спустя все игрушки, взявшись за руки, принялись выводить старательно и слаженно:

«Кружится, кружится и поёт, и поёт

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!»

Господи! Как же давно Настя не вспоминала этой песенки! Губы её от знакомых слов начали шевелиться сами собой – и вот уже она, забыв про всё, запела тихонечко – запела вместе с одноглазым зайцем, с медведем из потертого плюша, потерявшим гриву львом и писклявой Анитой:

«Скользкие, скользкие в декабре, в декабре,
Горочки, горочки во дворе, во дворе
Кружится, кружится и поёт, и поёт
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!»

Словно бы пелена какая-то упала у неё с сердца, растопив вечную мерзлоту памяти. Словно бы прошедшее время умалилось в короткий миг – случившееся давно стало происшедшим только что, мгновение или два назад.

Она вспомнила всё. Вспомнила, как сама же, взяв без спросу мамины маникюрные ножницы, отковыряла зачем-то зайцу глаз. Как, подравшись с пришедшей в гости двоюродной сестрой Натальей, стукнула ее несколько раз Анитой – Натальин рев потом не могли унять до вечера, Анита же с тех пор перестала гугукать и закрывать при наклоне глазки… Вспомнила, как безо всякой видимой цели выщипывала волосок за волоском хвост своему льву. И как его, истрепанного, вымазанного чернилами, с пропоротым насквозь боком, Настя выбросила на помойку собственноручно – в день, когда родители подарили ей большущую, сверкающую глянцем заграничную коробку с набором игрушечных медицинских инструментов…

Какие-то предательские и в то же время сладостно-теплые слезы подступили к уголкам ее глаз, грозя сей же час вырваться наружу. Хотелось немедленно сказать игрушкам что-то важное, доброе, извиниться за что-то, обнадежить, оправдаться – Настя принялась торопливо искать для этого нужные фразы и выражения, однако слова теперь отказывались ей подчиняться вовсе. Они выныривали откуда-то сами собой, возникали во множестве из ничего, клубились, роились, сплетались и расщеплялись причудливыми цепочками букв. Изумленная этим небывалым словесным парадом, девочка привстала со своего стула, подняла вверх обе руки, и вдруг…

…открыла глаза.

…Бабушкины ходики показывали десять минут девятого. В комнате было по-прежнему тихо – плюшевый мишка все также недвижно соседствовал на дедушкином столе с Настенькиной давней фотографией, по-прежнему выставив в стороны лапы словно бы для объятий либо приветствия. Все было так же, как раньше, и лишь часовые стрелки да слегка затекшая от неудобной позы правая нога свидетельствовали о том, что спала Настя все-таки довольно долго…

4.

А уже час спустя Настя бодро шагала по выбеленной улице. Снег, примятый за день многочисленными пешеходами, всякий раз откликался её ботикам упругим и аппетитным хрустом – он словно бы пружинил слегка под ногами. Электрические фонари сыпали вокруг голубым ртутным светом, и в этом полусказочном свете на Настин меховой воротник оседали, кружась, редкие снежинки. Оседали и затем очень медленно таяли…

10.12.05 – 9.10.07

Красная лампа

Этот едкий, гадкий табачный дым вьется, колышется… контрабандой затягивает на веранду сквозь полуоткрытую дверь. Возле крыльца нынче составился позорный клуб сутулых людей: короткие реплики, покачивание головами, стряхивание пепла под терпеливую сирень… бабушкины флоксы и вовсе уже почти затоптали…

Чудó-… нет, ну, чудóвищные гости, ей-богу!.. змеи вытянутых рук среди соусниц и тарелок… Масляные голоса вьются, вьются, словно волокна истершегося каната, – то и дело обрываясь, но тут же взамен вплетаясь новыми, другими: вместо сопрано – вдруг альты, вместо тенора – теперь, нá тебе, баритон… и кто-то уронил на стол стакан невзначай, разлив красное вино причудливой, похожей на контур Англии лужицей… и побежали за тряпкою…

«Андрю-а-ша!.. – голос матери не настойчив, – Андрю-шень-ка… где ты?.. иди сюда-а!..»

Спрятаться? Выйти? Да ну их к черту: все же нехотя появляется – важный, насупленный, сердитый, рубашка не заправлена, руки в карманах – вылитый скворец на весеннем газоне…

«Хоть бы причесался!.. Давай, съешь что-нибудь…»

И тут же забыла.

И слава богу!

«Саша, Митя, Алена Петровна – знаете что… давайте выпьем сейчас еще по одной за то, чтобы всегда…»

Короткий, стремительный взгляд исподлобья вбок, поверх графинов и бутылок, через стол – туда, где в бархате кушетки тонут ноги Настеньки.

Загорелые, голые, чуть играя в случайном солнечном зайчике еле заметной дымкой невидимых прозрачных волосков… одна на одной, застыли невозмутимо… истинные хозяева пространства… как все равно – у взрослой женщины…

Сладкой оторопью пронзенный – от кончиков пальцев до предательски вспыхнувших щек – прилип к ним взором. Смотреть, смотреть и смотреть еще…

…затем все так же нахохлившись букою, неохотно посмел оторваться, подняв глаза, – и тут же удостоился застать перемену: прежний ее рассеянный, скучающий, скользящий по головам и вилкам взгляд, наткнувшись на него, немедленно ожил в улыбку – простую и как будто бы бесхитростную.

Протиснувшись вдоль стола, между разнокалиберных стульев, то и дело извиняясь сквозь зубы и, тем не менее, задев кого-то невзначай – да, впрочем, кажется, никто и не заметил… не до того….

«Поела?..»

«Я не хочу…»

Хмыкнуть невнятно, неудобно присесть на ручку кресла…

«Чего так?»

«Да ну…»

Не сказала – скорее качнула головой. Дерзкая спираль гнедых кудряшек отбилась от своих и теперь заправлена за ушкó…

«А ты чего же?»

«Да как-то тоже все… *вот уж с меня довольно*… с утра тошнит уже от этих запахов…»

И, выждав немного:

«Пойдем отсюда, что ли?..»

Кажется, встрепенулась. Прежняя отсиженность, завороженность вмещающей мягкостью кушетки – разом куда-то прочь: чуть поворот головы, новый изгиб онемевшей руки, незаметно сводящий с ума…

«Не знаю даже… Ну, а куда?»

«Ко мне… наверх… Я буду там печатать карточки.»

Легкие такие, преходящие морщинки на лбу – проскочили волной.

«Какие… карточки?»

«Ну, карточки, фотокарточки… у меня там *лаборатория*… увеличитель, растворы…»

Говорить надо весомо, кратко, непонятно. Не выказывая при этом заинтересованности – так всегда делают взрослые.

В заключение же качнуть головой слегка – словно бы чуть-чуть в укоризну.

«Ну как знаешь, а я пойду – со вчера еще все приготовлено… обидно, если фиксаж прокиснет…»

И резво слез с неудобной ручки кресла – аж кольнуло в промежности.

===

Крашенная суриком деревянная лестница в два пролета – добравшись до середины, забудешь про все: сюда не подымаются терпкие запахи ветчины и звон тарелок, и то и другое, по всему, – субстанции тяжелее воздуха и оседают себе вниз, лишь постепенно, украдкой наполняя отведенный им объем…

Скрипучий путь в другой мир… специально отстать на десяток ступеней – чтобы видеть перед собой не одни лишь лодыжки – и уже там, на самом, самом верху, догнать рывком.

«А какая дверь?..»

«Вот эта. Направо. Толкай…»

И, не дожидаясь, самому пихнуть крашеную белую ручку – вперед…

Внутри – тихая комната, едва не заснувшая в обиде безлюдья. Скошенный вниз мансардный потолок, окошки в два света углом. Одно, впрочем, загодя затянуто посаженным на частые обойные гвоздики одеялом. А вот другое – распахнуто пока во всю ширь; внутрь, знай себе, лезут непослушные березовые плети, сорят бессмысленной трухой чешуек, рассказывают зачем-то о ветре-шалуне, помаленьку колобродящем там, снаружи.

Выгнать их прочь, выгнать и захлопнуть раму с усилием! Отгородиться плотным одеялом, включив перед тем двадцатипятисвечовую лампочку в голом патроне, сиротливо висящую под потолком на старом перекрученном проводе…

…Удары молоточка не иначе как развлекают гостью – усевшись на венский стул и взгромоздив ногу на ногу (бог ты мой!), смотрит выжидающе – без нетерпения, с легкой улыбкой.

«Не задохнемся?»

Лишь мотнул головой, не смея оторваться от дела. Молоток, молоток – ты подобен дятлу, обдирающему каждое утро перед домом свои зеленые шишечки… Работа спорится, гвоздики послушно встают на место – словно бы сами находят оставшиеся с прошлого раза отверстия…

«Верхнюю лампу я сейчас тоже выключу.»

??

«Надо, чтоб вообще света не было.»

Брови вскинула удивленно. Вполоборота взгляд:

«А мы?.. Ничего же не будет видно…»

«Норма-а-ально.»

Не удостоил ответом, закончив дело. И лишь потом обернулся:

«Смотри…»

Щелкнул выключателем, и тут же – сквозь разделитель мгновенной тьмы, прежде еще, чем привыкли глаза, – в пару ему уже и другим, на столе, там, где у дальнего края приторочен кое-как железнодорожный фонарь толстого рубинового стекла. (Родной брат тех, что отмечают углы глухого тамбура последнего в пассажирском поезде вагона, под непарные удары колес на стыках удаляющегося и удаляющегося от нас в свою чугуночную недосягаемость…)

Вспыхнуло красным – во все углы.

И разом изменилось все. Глубокие тени легли тут и там, возвысив контрастность и удвоив предметы – сократились расстояния и даже запахи, кажется, стали другими: пропал щемящий, кислотный тон проявителя, незримо расстилавшийся над прямоугольной ребристой кюветой. А равно и едва заметный мылкий привкус фиксажа, словно бы оседающий на язык, – если только не мерещился он прежде…

Теперь если и пахло, то лишь пылью – давно осевшей и слипшейся, но вдруг потревоженной немилосердным электрическим разогревом. Да еще – извечной шерстяной слежалостью распятого на окне одеяла.

«Двигайся сюда!..»

Подтягивая за собой стул, послушно приближает себя к столу:

«Что это, а?»

«Только не трогай пока ничего…»

Сам же начинает священнодействовать – будто бы чайная церемония какая-то: опробовать сперва допотопное реле времени (полоска непривычно-белого света накоротко выскакивает из сопла увеличителя и тонет втуне), затем вставить кассету с пленкой, вскрыть девственную пачку фотобумаги, отрегулировать фокус кремальеркой… затем…

«Это в июне… на Медное озеро ездили с дядей Юрой… вот его машина…»

Оба склоняются над красным высвеченным прямоугольником – Настины кудряшки теперь близко, совсем близко, мало что не касаются его губ – и предательски сушат эти губы, с трудом стесняющие кончик языка: ох, как высунул бы теперь, дотронувшись до края тонкого, прозрачного детского ушка… провел бы по прелестному завитку, обрезавшись…

«Смотри же, как это делается…»

Экспозиция… Затем – проявка: распластанный в кювете листок вдруг прорастает островками теней: сперва лишь грязными пятнышками, списанными на погрешность зрения, – смыкающимися несколько мгновений спустя, а затем обретающими градации, – и быстро вынуть, прежде чем почернеет, – и швырнуть в фиксаж, и там ополоснуть!..

«А это кто?..»

«Мама… и видишь, Пижон на поводке… вырваться пытается…»

«А это?..»

«Не знаю… какие-то девчонки.. но смешные, да?.. вот смотри, прикольное дерево… с таким наворотом… и это…»

«Гляди, опять Пижон… со шляпой играет…»

«А тут?..»

«Тут непонятно… потом свет включим – рассмотрим как следует… может, и ничего интересного, напечатал на всякий случай…»

Пленка – тридцать шесть кадров. Две – это уже семьдесят два. В трех же оказалось чуть меньше сотни – пять были засвечены, еще столько же примерно – чистый мусор. И два остались неотснятыми почему-то – еще при проявке пленки растворами прилежно вычищены до белизны…

Вылежавшиеся в фиксаже карточки аккуратно поддеты пинцетом и после развешаны на бечевке через комнату – словно стираное белье. Надо бы – глянцеватель, но глянцевателя, увы, нету… Бумага матовая, 13 х 18 «Унибром», сойдет и так.

«Чуть подсохнут – придавлю книгами… чтоб в трубочку не свернулись…»

Окинул довольным взглядом плоды труда. Отодвинул кюветы, расчистив на столе место, промокнул тряпочкой нечаянно пролитую каплю – и после едва не уперся своими глазами в густую челочку, спрятавшую опущенные чужие… совсем близко…

…И тогда, как-то само собой, без раздумий и колебаний, будто кем-то научен загодя, – накрыл рукой Настенькину ладонь – и замер на миг, завороженный теплым осязаемым шелком…

Нет, не отдернула…

И склонился вперед, зарывшись носом в макушке: сладкий запах волос, кожи, девичьего легкого пота перебивает все, сминая мысли в плотный комок желания…

«Встань…»

Встали оба, с шумом, неловко потеснив стулья.

На миг разомкнулись, но тут же вновь прильнули друг к другу – еще теснее.. Наскоро нащупав губами губы – все, как надо!

В полуобмороке как будто, ужасные руки – словно бы некуда деть: искал, искал и вот уже принялся расстегивать кофточку – секундная попытка сопротивления, скорее даже намек – и теперь путь свободен: наткнувшись на ткань лифчика, скользнул за спину, туда где пряжечка эта, непривычная, неудобная…

Все же – как ни кинь, но успел совладать: в красном свете двойняшки-груди выглянули вдруг темными глазами сосков – взамен двух других глаз, спрятанных нависающей челкой. Нежное, нежное, немыслимо нежное прикосновение подушечек пальцев… и вдруг…

И вдруг – на тебе, пожалуйста: эти мерзкие шаги на лестнице. «Андрю-ю-ша!.. Настя!.. дети!.. эй, где вы там?.. куда вы все попрятались?!..»

А уже чуть погодя – неизбежное: стук в дверь, три не слишком ровных удара женской глупой рукой.

«Вы здесь? Чем вы там заняты, а? Ишь, закрылись…»

«А?.. Мы ничего… мы печатаем тут, мама…»

«Давайте-ка, спускайтесь ко всем… Хохловы уходят, попрощайтесь…»

И зашагала вниз.

…боковым зрением увидел, как смотрит в сторону, в дальний угол, поправляя кофточку торопливо: на сегодня, увы, все, не склеилось, адью!

===

Как веревочке ни виться… в общем, долго ли, коротко ли – а еще неделя прошла.

Всего-то неделя – но тяжкая какая, кому рассказать!..

И вот те же лица в том же интерьере: вся и разница, что увеличитель выключен и в угол задвинут, кюветы и бутылки спрятаны в шкаф, стол пуст и чист, а затемнение снято. Кокетливое солнышко просунулось в окошко сквозь березовые ветви.

Притом, что никаких теперь взрослых в доме, – слава тебе, господи, отчалили за грибами поутру – все как один:

недавним слухам подвластны, что-де маслята пошли будьте-нате – по всем просекам стоят шеренгами, свеженькие, ни червячка… коси, мол, – не хочу…

Настя и Андрей порознь отбоярились – хоть и не без труда.

Вот и ладно.

И теперь сидят друг перед другом, смотрят чуть-чуть насмешливо. Молчат.

Потом вдруг встали: сначала – он, миг спустя – она, подались навстречу, сделав полшага…

Прежний путь не напрасен – руки враз находят привычную уже дорогу – не путаясь больше в пуговицах и даже справившись без труда с крючочками бюстгалтера. Вновь – волшебное прикосновение и можно двинуться дальше, где давеча не был, – но стоп:

шагнула назад, мотнув головой. Подняла глаза: милые, чуть растерянные, влажные.

«Не надо. Подожди. Я боюсь. А ты можешь… сейчас включить… эту твою красную лампу?..»

23.10.2015 – 14.01.2016

Длинный день после детства

«Шестнадцать лет, семнадцать лет —
Все это было, или нет?»
Екатерина Горбовская

1.

Городок, в котором я вырос, ночами кутался в звездное небо, будто в ватное одеяло, – мягкая складчатая золотая россыпь, с расточительной неравномерностью разбросанная чьей-то щедрой рукой, словно бы выгибалась над ним аркой, уходя одним краем за черный глухой контур ближних гор. Другим краем ночное небо падало в провальную черноту моря, тускнея и сливаясь с ним где-то у почти невидимого горизонта, едва отмеченного парой огней какого-нибудь неведомого бедолаги-сухогруза, совершающего ночью свой неспешный *малый каботаж.* И лишь в одном месте, там, где днем серая галечная полоска пляжа упиралась в корявое, облюбованное крабами бетонное нагромождение пограничного волнореза, черно-золотая благородная неисчислимость вдруг прорастала буйным многоцветием анемона, – наш маленький трудяга-порт шевелил щупальцами горбатых кранов, шарил вокруг прожекторами, сотрясал воздух нечленораздельной селекторной многоголосицей, разносимой услужливым ночным бризом едва ли не по всему городу, вплоть до автобусной станции и топорщившейся за ней уродливой семиэтажной башни санатория «Белая Акация»… Однако звездное небо все-таки оказывалось сильнее портовой какофонии, оно умиротворяло, сулило покой и покров, побуждало верить в будущее и загадывать желания, и черные силуэты наших двухэтажных домиков молча вторили ему желтыми квадратами своих окон.

Городок был как городок – нескончаемая белоштукатурная череда аляповатых *здравниц всесоюзного значения,* затем единственная, по сути, широкая улица, идущая вдоль набережной, – по ней обычно в послеобеденные часы слонялись взад-вперед одуревшие от пляжного лежания *отдыхающие;* хлебозавод, милиция, почта, две поликлиники, из которых в одной, сколько себя помню, обязательно шел пыльный ремонт, пахнущий ацетиленом и известкой…

…Зимой было промозгло и слякотно, порою по нескольку дней кряду сыпался мокрый снег, от которого, казалось, не в силах спасти никакая одежда, – по улице передвигались, высоко подняв воротники и не вынимая из карманов рук… да и вообще старались, сколько можно, не выходить из дому без нужды, – все словно бы застывали в каком-то анабиозе, в смутном предчувствии того, что на этот раз март, вопреки календарю, не наступит вовсе.

Тем не менее, март наступал. Мало-помалу начинало теплеть, и к середине апреля – дней за десять до появления первых курортников – воцарялась сущая благодать: завершив суматошные приготовления, городок вдруг затихал, словно бы невеста перед свадьбой. Теснились у пирса свежеподкрашенные прогулочные теплоходики, чистыми и пустыми столами хвастались сквозь умытые окна столовые и кафе, а полосу прибрежной гальки силами солдат близлежащих воинских частей старательно освобождали от полусгнивших за зиму кукурузных огрызков, обрывков прошлогодних газет, спаявшихся в аморфную массу полиэтиленовых пакетов и шершавых палочек от съеденного когда-то мороженого. В двух или трех самых ответственных местах – там, где городской пляж вплотную подступал к мраморной лестнице, дававшей начало улице Защитников перевалов, – эту галечку даже подсыпáли, пригнав несколько самосвалов откуда-то со ставропольских карьеров. (Отдыхающие потом все лето развозили ее по стране – разумеется, в качестве *морских камушков,* а как же иначе?..)

Той весной я оканчивал десятый. Впереди, в непосредственной близости, маячили выпускные экзамены, диковинные и тревожные, – последующее же таилось в кромешном

тумане неизвестности. Впрочем, одно только виделось мне тогда наверняка – дома я не останусь в любом случае. Дальние большие города манили меня америкой своих улиц – и непреодолимость этой тяги отзывалась в моем сердце каким-то сладким и спелым покоем.

Все же в нашу вторую школу я ходил теперь едва ли не с большим энтузиазмом даже, чем все предшествующие десять лет. Причин тому было, понятно, несколько, причем среди двух или трех вполне рациональных было и абсолютно непонятое мною тогда *нечто*, вернее всего передаваемое поговоркой «перед смертью не надышишься». В самом деле, откуда мне было знать в то время, что стаффаж выпускной фотографии нашего десятого «Б» – даже с учетом отсутствовавшего Витьки Смородина, некстати схватившего накануне выпускного бала грипп, – не будет полностью воспроизведен теперь НИКОГДА. Вообще – никогда. Просто потому, что такого не бывает. НИКОГДА НИ У КОГО – и это обстоятельство, увы, непреложно, как смерть. Но ведь не о смерти же мне тогда думалось?

Примерно к двадцатому апреля по большинству изучаемых предметов программа десятого класса оказывалась исчерпана, и учителя в преддверии экзаменов принимались повторять тему за темой, всякий раз стараясь свести повторяемое к набору формулировок, легко конспектируемых для последующего запоминания и воспроизведения. Смещение дидактических акцентов и интонаций даже для нас было столь очевидным, что в обросших кликухами и неприличными частушками учителях мы вдруг впервые в жизни увидели, почувствовали союзников.

Однако вовсе не нужда в подготовке к экзаменам тянула меня по утрам в школу сильнее прочего. Как это нередко случается в семнадцать лет, все обстоятельства на свете превосходило одно-единственное – желание видеть рядом с собой соседку по парте – Аннушку Элланскую, в которую я был влюблен уже месяца как три или четыре.

Стоит сразу сказать, что *ничего такого* между нами тогда еще не произошло, о чем из сегодняшнего далека я вспоминаю не иначе, как с явным сожалением. Все-таки основой тогдашней нравственности, как ни кинь, было элементарное невежество, заставлявшее деток из приличных семей *душить прекрасные порывы* в самые неподходящие для этого моменты.

Как бы то ни было, в школу я в те дни летел, едва не поперхнувшись завтраком, и приходил всякий раз минут за десять до начала первого урока – дисциплинарный результат, воистину немыслимый при моей и поныне неистребимой склонности к опозданиям, – но уж что было, то было!..

Аня, напротив, обычно появлялась за минуту до звонка, а то и со звонком вместе. Торопливо протискиваясь в класс, она всегда с порога отыскивала меня каким-то трогательно-беспомощным взглядом, словно бы извиняясь, что не пришла раньше, и, поймав этот чуть смущенный взгляд, я, в свою очередь, успокаивался тоже – несколько мгновений спустя мы уже сидели рядом, и укрытая исцарапанной столешницей парты от досужих глаз левая моя ладонь томилась, вдыхая юное тепло девичьего бедра, увы, лишь сквозь плотную материю форменного школьного платья.

Историю в выпускных классах у нас преподавал массивный седовласый мужчина по фамилии Кабанов и по кличке, разумеется, Хрюндель. Вся школа знала, вернее – считала, что знает о том, что Хрюндель – гомосексуалист. Впрочем, каких-либо подобающих этому диковинному статусу особенностей облика или поведения Хрюнделя никто из нас никогда не замечал – да и едва ли, говоря по правде, имел сколько-нибудь определенное представление о том, что именно должно бы быть в этом случае замечено. Однако молва, разумеется, оказывалась сильнее опыта, и всякий из нас с важностью произносил, как само собою разумеющееся: «Хрюндель – пидорас», «потому, что Хрюндель – пидорас» и иное, тому подобное.

Впрочем, помимо гипотетически-нетрадиционной сексуальности, Хрюндель выделялся на общем фоне нашего курортного захолустья еще и некоторыми другими вещами. Во-первых, он был действительно хорошим историком. Во-вторых же, из его собственных обмолвок, а также обмолвок его коллег-учителей мы постепенно уяснили, что когда-то прежде Хрюндель жил в Москве и работал в МИДе. К нам же он попал «по состоянию здоровья»: врачи, дескать, выяснили, что Хрюнделю *вреден север,* и настоятельно посоветовали сменить место обитания.

Как я уже сказал, Хрюндель был хорошим учителем истории – знал и любил свой предмет, умел *держать* класс и, несмотря на специфическую ауру, не допускал в отношении себя каких-либо унизительных провокаций. Разумеется, как всякий такого рода школьный преподаватель, он был окружен некоторым количеством любимчиков (в невинном, само собой, значении этого слова) – одно время в этот кружок была вхожа и моя Аннушка, я же почему-то всегда старался держаться от Хрюнделя на некоторой дистанции. И это при том, что успевал по истории весьма неплохо. Впрочем, я, стоит сознаться, вообще хорошо учился в старших классах.

Как бы то ни было, сколько-нибудь неформального, личного общения с нашим учителем истории я, кажется, не имел ни разу. Ни разу – вплоть до того странного дня, о котором, собственно, и собираюсь здесь рассказать.

Тогда повторяли Великую Отечественную – сорок четвертый год, если уж быть совсем точным. Хрюндель распинался возле огромной, протертой в двух местах насквозь, клеенчатой карты; заправски, что твой Жуков, орудовал эбонитовой указкой, вычерчивал мелом на доске названия фронтов и операций округло-каллиграфическим почерком учительницы младших классов. Мы, однако, его почти и не слушали: обреченные строгим ментором на пыточную взаимную немоту во все продолжение урока, привычно вынуждены были развлекаться, так сказать, самодельной пантомимой. В тот, например, день Аннушка приволокла зачем-то маникюрные ножнички – почти что кукольные, с синими пластмассовыми колечками для пальцев, – минут через двадцать после начала урока она достала их из своего портфельчика и, нацепив на правую руку, пошла этой рукой по парте в мою сторону, словно вооруженная секатором каракатица. Я едва сдержался, чтобы не прыснуть хохотом, но в следующий момент нашелся подставить наступающим ножницам уголок страницы учебника. Еще через миг этот кривоотрезанный треугольный уголок с сиротливой карандашной помаркой был сдут со стола на пол, а живые ножницы двинулись дальше. Пришлось встретить их голой рукой – завязалась борьба ладоней и пальцев не на жизнь, а насмерть, в результате чего ножницы перешли, как и следовало ожидать, в полной мере под мою юрисдикцию. Теперь обороняться пришлось Аннушке – ей, однако, это было делать совсем не просто, ибо кроме самих ножниц в мои трофеи попала и ее правая рука также – детски-мягкая, теплая и немножко влажная. В общем, я был воистину необуздан и успокоился лишь после того, как сумел отхватить от орехового водопада Аниных локонов (косу она перестала носить как раз ради меня – месяца за полтора до этого) маленькую, прихотливо изогнутую прядь.

Этой вот волосяной запятой мы и играли самозабвенно в гибрид футбола с бильярдом прямо на поверхности парты в тот миг когда… когда, казалось, прямо над нами едва ли не гласом божьим раздалось безжалостное:

– Водолеев!.. Ну-ка расскажите теперь *вы* нам о военно-политическом значении Ясско-Кишиневской операции…

Я лениво поднялся. Хрюндель по-прежнему стоял на своем обычном месте, у доски возле карты. Про Ясско-Кишиневскую операцию я, понятно, едва ли мог сказать что-нибудь определенное и потому лишь растерянно кашлянул:

– Я, Арсений Евгеньевич… мне как бы не совсем понятно… то, что вы сейчас объясняли… выход из войны Румынии…

Должно быть, голос мой был подобен блеянью. Блеянью ягненка, задумавшего укусить овчарку. Хрюндель глядел на меня со своим обычным вопросительным жестом – легонько постукивая себя по левой ноге указкой. Вокруг – невнятным морем – колыхался класс, перед которым, как мне казалось, я был *ни за что* выставлен на посмешище. Хрюндель глядел на меня пристально, и в его взгляде я, неопытный, разглядел вместо досады почему-то лишь упоение властью.

– Что ж, Водолеев, оно и не мудрено… в вашем положении… Однако ж хочу вам сказать, что общепризнаваемая неотразимость вашей соседки может стать, при подобном развитии событий, серьезным препятствием для вашего поступления… на журфак, если я правильно понял вашу матушку…

Господи! Что же такого я умудрился расслышать в этих словах? Какие обиды смертельные, какие унизительные укоризны? Что соскочило тогда в моем мозгу с накатанной дороги школьного всеспасающего конформизма? Почему?

Однако же что-то произошло – что-то, прежде мне не знакомое. Какое-то абсолютно новое чувство в секунду наполнило меня всего, и я тогда не ведал, что чувство это называется – гнев.

– Конечно… конечно, Арсений Евгеньевич… с вашей точки зрения… но ведь я же не пидор грязный, как некоторые…

Мир не обрушился грудой стеклянных осколков. Все осталось по-прежнему, изменилась лишь оптика моего восприятия – я видел теперь все словно бы через короткофокусный объектив: и затаившийся в странном восторге класс, и ставшее вдруг крупным лицо Хрюнделя. Я видел, как мелок в его правой руке два или три раза вдавился зачем-то, крошась, в коричневую плоскость доски… Время текло теперь, как в фантастическом фильме про космос, – мелькали столетия за столетиями, а я все стоял и глядел на замолчавшего Хрюнделя. Наконец какая-то новая, иначе устроенная волна гнева подхватила меня и поволокла, задевая чьи-то сумки и портфели, прочь из класса. И лишь на улице, за пределами школьной ограды оставила меня наконец в покое, – если только можно назвать покоем то жалкое и неустойчивое состояние духа.

Солнечный свет пустынных в ту эпоху всеобщей и полной занятости послеполуденных улиц жалил меня оводом. Спасаясь, я бросился прочь от школы – без какой-либо цели и вообще без какой-либо определенной мысли в голове – лишь бы двигаться, переставлять ноги, унимая хоть как-то литровые выплески адреналина в крови.

Едва ли я сейчас помню в точности тот свой маршрут – кажется, я спустился вниз по Калининской, мимо пожарной части – так, по крайней мере, было короче – миновал столовую «Буревестник» и в этом случае уже минут через пять, от силы – десять должен был оказаться у моря. Помню, что у моря я и оказался – с решительным хрустом пересек прибрежную гальку и, дойдя до узкого серого, омываемого ослабевшими саженками волн, гладкого песчаного языка, встал как вкопанный. Дальше идти было в общем-то некуда. Берег кончился, ничего интересного я не увидел и в море – оно пахло всегдашними гнилыми водорослями, покачивало в смешной для приличного пловца близи оранжево-ржавые каплеобразные буйки. Даже чайки куда-то исчезли все…

Предательски набежавший вдруг прозрачно-пенистый водяной блин вырыл маленькие ямки вокруг моих ног, следующий его собрат простерся еще чуть дальше и, отступая, не преминул захлестнуть туфли – я почувствовал, как тут же вымокли носки, и, возможно, благодаря этому мало-мальски взбодрился. Во всяком случае, я, наконец, сдвинулся с места – сдвинулся и медленно пошел, понурив голову, вдоль самой кромки воды, нимало не заботясь уже ни о состоянии обуви, ни о том, чтобы остаться незамеченным.

2.

Не следует, однако, думать, что вышеописанное *приморское дефиле* было так уж начисто лишено целесообразности – сиречь, точки назначения: места, куда, в конце концов, должны были привести меня вымокшие мои туфли. Не составляет и большого труда обнаружить это место на нашем районном глобусе: конечно же, я слинял тогда *на Скалы,* куда же еще!

Именно на Скалы: так называли мы самый, по общему мнению, укромный уголок побережья – примыкавший непосредственно к *ближнему заповеднику* закрытый пляж санатория «Полярный». Этот санаторий, по ведомственной принадлежности относившийся к странной организации с названием «Севвостгео», почему-то начинал сезон лишь в конце июня, когда в него единовременно заезжали на двух туристских автобусах худощавые бледные люди. Выгрузившись, они, не обращая внимания на море, дисциплинированно рассасывались по номерам и, проспав там безвылазно сутки, отправлялись затем в город сорить деньгами.

А до того добрую треть лета, отделенный со стороны города двухметроворостым проволочным забором (мы, конечно же, знали в нем подходящую дырку!), совмещенный с пляжем *нижний* парк «Полярного» пребывал в образцово-первозданной нетронутости – сверкал гипсом статуй в восковой оправе олеандров – ни дать ни взять, этикетка какого-нибудь «Боржома» или «Нарзана»! Лишь сторож – сорокалетний дядя Миша – в утренние часы восседал у воды в своем неизменном синем шезлонге и из-под надвинутой на глаза ковбойской шляпы лениво провожал взглядом нас, браконьеров. В ответ на это попустительство мы обычно угощали дядю Мишу сушками, сигаретами, стаканом домашнего вина или еще какой-нибудь детской ерундой.

Скалами же данное место величалось за россыпь разнокалиберных камней (вплоть до небольших скал, собственно), романтичным хаосом спускавшуюся к воде в дальнем конце пляжа, у самой границы заповедника, – вообще говоря, формального пляжа там уже не было – никаких тебе буйков, кабинок – однако никого это, понятно, и не останавливало: загорать на отполированном морем каменном ложе, нырять с него сразу на глубину было не в пример соблазнительнее, чем тереться отлежалыми боками об острую мелкую гальку. Так что, уж коли кто-то из нас решался на очередную сушечную взятку дяде Мише, то ради того только, чтоб, проскочив стремительно мимо гипсовых шахтеров и иссякших навеки фонтанов-русалок, исчезнуть затем именно здесь, в свободном от каких-либо минотавров каменном лабиринтике…

Из сказанного с очевидностью следует, что среди этих самых скал я и решил тогда переждать означенный наплыв душевных бурь, уподобившись, как видно, той же русалке: грустен, молчалив и невинен. А вместо покрытого рыбьей чешуею хвоста – постылый форменный пиджак и ненавистный галстук, всякий раз непременно сбивающийся набок вопреки моим судорожным стараниям. Впрочем, от пиджака я тут же избавился – свалил его неаккуратной кучей позади себя, едва устроившись на длинном и плоском, наполовину уходящем в воду камне, местным наречием прозванном «Сучьим лбом», или просто «Сучьим». Здесь был естественный *терминал*, конечный пункт моего бегства, – и здесь я, наконец-то, смог перевести дух.

3.

Море было рядом – в каких-то двадцати-тридцати сантиметрах. Пахло своим особым живым запахом, напевало что-то невнятное лишенной ритма неутомимой рябью… Лежа ничком на каменной плоскости, я протянул руку, дотронулся до воды, черпнул ладонью пригоршню – неподвластная мне прохлада тут же скользнула сквозь пальцы прочь. Еще более подтянувшись к краю, я опустил тогда правую руку в воду уже по самое запястье и замер в этой позе минут на пять. Было приятно – шевелиться не хотелось вовсе: казалось, вся беспокой-

ная, злая энергия бесшумным потоком – как кровь в лабораторный капилляр – уходит теперь из моих пальцев в эту прозрачную бесконечную зыбь, способную вместить все на свете и все на свете принять. Даже захотелось почему-то, чтобы кто-нибудь сейчас укусил меня за руку там, внизу – какая-нибудь быстрая рыба, не знающая преград и границ, – шутя доплывающая от нашего постылого берега до самой Румынии или Турции.

Я, должно быть, впервые пришел сюда в этом сезоне – радость новой встречи с забытым за зиму раем легко – в каких-то полчаса, не более – преодолела давешнюю сумятицу, оттеснив школьные проблемы сперва в запасник *неопределенно-долговременных обстоятельств*, а затем и вовсе куда-то на периферию реальности. Не то чтобы я вовсе перестал думать о случившемся – конечно же, нет, не перестал ни на миг, – однако думы эти теперь приняли характер отвлеченных рассуждений о свойствах бытия – именно тех рассуждений, которыми так любят занимать себя семнадцатилетние мальчики.

В общем, скажу без обиняков – мне стало хорошо. Притом, что по-прежнему было грустно. Грустно и тревожно – и хорошо, как может быть только в семнадцать лет, а потом уже – никогда.

Повинуясь не поддающейся распрямлению цепи ассоциаций, я вспомнил сперва почему-то поездку в Краснодар с матерью прошлой осенью, затем соседа Мироныча, объевшегося жареных мидий и попавшего по этой причине в больницу, затем еще что-то и что-то другое – и с неизбежностью в какой-то момент – мою Аннушку: представилось, как она, стоя рядом с партой и почему-то вполоборота ко мне, сперва поправляет волосы у себя за плечом, потом отводит слегка голову влево и, смеясь, энергично вертит ей отрицательно, – отклоняя в очередной раз какую-то мою безалаберную настойчивость.

Устав лежать, я согнул руки в локтях и, оттолкнувшись от теплого камня, сел, спустив ноги вниз, на гальку. Хаос мелких камушков принял меня с легким шуршанием, едва различимым для уха, однако достаточным, чтобы вспугнуть коричнево-синего краба-подростка, нежившегося в тени соседнего валуна, на самой ее границе, – я и заметил-то его, лишь когда что-то бурое и многоногое боком метнулось к ближайшей расщелинке и забилось туда, выставив наружу два волосатых членика одной из конечностей.

Иных живых существ вокруг себя я не обнаружил – даже вездесущие мухи почему-то отсутствовали напрочь. Не зная, чем себя занять, я разулся, снял подмокшие носки, попытался их отжать, затем засунул, скомкав, обратно в туфли, после чего водрузил последние на «Сучий» рядом с пиджаком и галстуком – получилось, ни дать ни взять, некоторое подобие *монумента школьной несвободе*. Точнее, монумента *преодолению* школьной несвободы – или даже заведомой *обреченности* такового преодоления. Впрочем, меня тогда едва ли трогал анализ подобных материй…

Делать было, по-прежнему, решительно нечего. Просто так уходить, однако, тоже было не с руки как-то – что-то внешнее должно было выбить меня из этой пленительной западни, одарить движением, смыслом, делом. И это «что-то», как и подобает в семнадцать лет, не замедлило явиться, причем, явилось, разумеется, в наиболее роскошном из всех возможных вариантов.

Облака парили над морем и городом редкой ажурной стайкой, рассыпаясь в солнечных лучах. Я глядел на них, лежа на спине и подсунув под голову сложенные в замок руки. Если бы я выдернул руки из-под головы, то несомненно достал бы до этих полупрозрачных ягнят неровно обстриженными кончиками ногтей. Но шевелить руками было лень, и я продолжал сохранять свою блаженную неподвижность. Облака были неподвижны также, и вокруг них словно бы вились ворохом мои мысли – мысли обо всем подряд: о предстоящих экзаменах и об университете, о двухдневной дороге в Москву в плацкартном вагоне и даже о Ясско-Кишиневской опе-

рации – именно о ней я, кажется, и думал в тот самый момент, когда знакомый голос окликнул меня по имени откуда-то совсем рядом.

4.

Верная моя Санчапанса нетерпеливо стояла среди камней шагах в тридцати, держа в левой руке забытый мной в школе узкий «дипломат» с кодовым четырехсекционным замочком – предмет особой зависти одноклассников и, соответственно, хозяйской гордости безграничной. Собственная же школьная сумка по этой причине висела у Аннушки не на левом, как обычно, а на правом плече, что ей было, как я знал, неудобно. Да и вообще – идти через город с двумя портфелями было донельзя нелепо – я, разумеется, заметил это – не мог не заметить, – но вместо сочувствия и благодарности испытал тогда лишь досаду: досаду того же рода, что возникала всякий раз, когда Аннушка в чем-то нарушала своим обликом мои инфантильные представления об идеальной женственности.

Стало быть, я очнулся от своей медитации, поднял голову и, увидав рядом Аннушку, воспринял это, как само собою разумеющееся. Мы всё тогда, наверное, воспринимали, как само собою разумеющееся, – и потому, *воссоединившись на фоне морского прибоя*, вовсе не *утопили друг друга в объятиях* подобно романтическим киногероям, а чинно сели рядом на край «Сучьего», и после какое-то время смотрели молча, как прямо под нашими ногами, в пролизанной за века выщербленности, досужая водяная нервотрепка колышет нептунью бороду водорослей.

Было ощутимо жарко, несмотря даже на снятый пиджак, два самых пьянящих на свете запаха – чистого весеннего моря и слегка вспотевшей от быстрого движения семнадцатилетней женщины – дразнили мои бедные ноздри… В этом гиперсенсорном аду ни одна мысль напрочь сорвавшегося с обыденных якорей мозга не позволяла удерживать себя более двух секунд кряду, дразня недозагаданными желаниями, как августовский звездопад…

– Ну?.. Чё там?.. Хрюндель икру мечет?.. – глядя в сторону и насупившись, я изо всех сил старался придать бывалой суровости своим интонациям, – мать в школу вызвал, небось?

Подсознательно хотелось услышать в ответ что-нибудь чудовищное – вроде обещания гарантированной тройки за выпускной экзамен. Или вызова на дуэль. Вместо этого я удостоился, однако, лишь отрицательного покачивания головы:

– Не… ничего… так все затихло как-то… само по себе… он потом Мишку спрашивал… про ту же Ясскую операцию…

Мишка Курбатов был наш самый отличник – маленький и лопоухий. Героический пафос, таким образом, оказался вконец профанирован. Словно бы предвосхитив это мое разочарование, Аня придвинулась ко мне вплотную и взяла за руку:

– Он все забудет за неделю… Не волнуйся…

Я попытался, сколь мог – недоверчиво, хмыкнуть в ответ – получилось что-то, напоминающее всхлип или даже сморкание: несолидный такой звук.

– Не забудет… Нет… Пидорасы злопамятны. И мстительны. Помнят всю жизнь.

Хотелось, конечно же, еще чуток понежиться – когда еще доведется! – в лучах этой жалостливой безысходности:

– Вот увидишь… он обязательно мне отомстит… На экзамене. Поставит банан или треху. Найдет, на чем завалить…

Аннушка слушала меня с каким-то странным сочувствием – не соглашаясь, но и не возражая внутренне, – а словно бы пропуская мимо себя сомнительность умственных моих построений. Так умеют слушать почти одни только женщины и редкие из мужчин, перешагнувших пятьдесят.

– …или пацанов своих подговорит… устроят мне «темную» где-нибудь на улице…

Меня явно несло – как потерявший управление мотоцикл:

– …может, стоит убраться из города даже… не дожидаясь… уеду в Москву, устроюсь работать… пока все затихнет…

Кажется, я сам не вдумывался в собственные слова – и уж едва ли верил тому, что говорил, это точно:

– …или даже в армию загребут… ну и что… наплевать… попрошусь даже в Афган добровольно…

Неизвестно, сколь долго могло бы длиться подобное, – но всему, слава богу, приходит конец, даже юношеской дури: и вот Аннушка, устав, как видно, внимать моим излияниям, вдруг оторвалась от созерцания играющей с солнцем воды и, посмотрев мне в глаза, сказала всеохватно и непререкаемо:

– Ду-ра-чок…

– Сама дурачок!..

Я как бы обиделся и обрадовался одновременно – еще один сенсуальный оттенок, практически немыслимый в более зрелые годы.

– Нет, я сказала – ты дурачок!.. Мой глупый дурачок – глупый-глупый дурачок!..

Закончив фразу едва ли не шепотом, она шутливо замахнулась на меня кулачком – по-женски, держа руку наподобие маленького молотка. Я вновь, как и на давешнем уроке истории, перехватил эту руку, каким-то бесцеремонным, меня самого удивившим движением рванул ее на себя, и в следующий миг мы уже целовались. А еще миг спустя повалились боком на камень, поскольку невозможно как следует целоваться с девушкой, сидя с ней локоть к локтю и свесив ноги вниз.

– Ты просто дурачок и не понимаешь ничего в жизни!..

Шампанское женского аромата вело мой мозг в неминуемый нокаут. Голос предков заговорил во мне теперь и принялся действовать, требовательный и всесильный – но увы! Едва лишь я скользнул ладонью в потаенную пазуху Анькиной голубой сорочки, нащупав подушечками пальцев самый тонкий на свете вельвет ее кожи, как объект моего напора вдруг вывернулся с изумительной ловкостью из объятий и, со смехом отстранив меня, откатился прочь. Неподвластным сознанию боковым зрением я отметил почему-то высохшую елочку пустышки-водоросли, невзначай прилипшую к Аннушкиной спине чуть пониже правого плеча..

Теперь нас разделяло около метра. Но если б дело было лишь в геометрическом расстоянии! Иное, неизмеримо большее преткновение возникло теперь – и возникло сугубо по моей вине только. Говоря короче… в общем, со мною, бедолажкой, средь бела дня случилось то, что доселе происходило лишь по ночам, да и то не особенно часто. Надо ли пояснять, сколь сильно я был обескуражен этим проступком моего тела и сколь тщательно прилагал старания, дабы таковую обескураженность скрыть – впрочем, как раз последнее было ой как не просто, ибо судьба, казалось, принялась насмехаться надо мной с неисчерпаемой задорностью пионера-пятиклассника. В самом деле – только лишь я, отдышавшись и приняв, наконец, сидячее положение, вознамерился произнести что-нибудь, имеющее целью отвлечь Аннушку, да и меня самого от постигшей неудачи, как тут же ушей моих настигли звуки более чем неожиданные:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.